

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Ребьячья болтовня (Ребьяческая болтовня)



У богатого купца был детский вечер; приглашены были все дети богатых и знатных родителей. Дела купца шли отлично; сам он был человек образованный, даже выдержал в своё время экзамен при университете. На этом настоял его почтенный отец, который был сначала простым прасолом^[1], но честным и трудолюбивым человеком и сумел составить себе капиталец, а сын ещё приумножил его. Купец был человек умный и добрый, но люди не так много говорили об этих качествах, как о его богатстве.

Он вёл знакомство и с аристократами крови, и с аристократами ума – как это говорится – с аристократами и крови, и ума вместе, и, наконец, с теми, которые не могли похвалиться ни тем, ни другим аристократизмом.

Итак, у него в доме собралось большое общество, но исключительно детское; дети болтали без умолку; у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая; спесь не вбили, а «вцеловали» в неё, и не родители, а слуги, – родители были для этого слишком разумны. Отец малютки был камер-

юнкером, и она знала, что это нечто «ужасно важное».

– Я камер-юнкерская дочка! – сказала она. Она точно также могла бы быть лавочниковой дочкой, – и то, и другое одинаково не во власти самого человека. И вот, она рассказывала другим детям, что в ней течёт «настоящая кровь», а в ком её нет, из того ничего и не выйдет. Читай, старайся, учись сколько хочешь, но если в тебе нет настоящей крови, толку не выйдет. – А уж из тех, чьё имя кончается на «сен», – прибавила она: – никогда ничего не выйдет путного. Надо упереться руками в бока, да и держать себя подальше от всех этих «сен, сен!» – И она упёрлась прелестными ручонками в бока и выставила локти, чтобы показать, как надо держаться. Славные у неё были ручонки, да и сама она была премиленькая!

Но дочка купца обиделась: фамилия её отца была Мадсен, а она знала, что эта фамилия тоже кончается на «сен», и вот, она гордо закинула головку и сказала:

– Зато мой папа может купить леденцов на целых сто риксдалеров и разбросать их народу! А твой может?

– Ну, а мой папа, – сказала дочка писателя: – может и твоего папу, и твоего, и всех «пап» на свете пропечатать в газете! Все его боятся, говорит мама, – ведь, это он распоряжается газетой!

И девочка прегордо закинула головку – ни дать ни взять принцесса крови!

А за полуотворённую дверь стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щёлочку; мальчуган не смел войти в комнату; куда было такому бедняку соваться к богатым и знатым детям! Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть на разряженных, веселящихся детей в щёлку; и это уж было для него огромным счастьем.

«Вот бы мне быть на их месте!» думалось ему. Вдруг, он услышал болтовню девочек, а, слушая её, можно было упасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша; у них не было средств даже выписать газету, не то что самим издавать её. Хуже же всего было то, что фамилия его отца, а значит и его собственная, как раз кончалась на «сен»! Из него никогда не выйдет ничего путного! Вот горе-то! Но кровь в нём всё-таки

была самая настоящая, как ему казалось; иначе и быть не могло. Так вот что произошло в тот вечер!

Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми.

В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его; для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Ну, это легко угадать! То-то не очень! Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на «сен» – Торвальдсен.

А другие дети? Дети кровной, денежной и умственной спеси, из них что вышло? Да, все они друг друга стоили, все они были дети, как дети! Вышло из них одно хорошее: задатки-то в них были хорошие. Мысли же и разговоры их в тот вечер были – ребяческой болтовней!

^[1]Прасол – устар. оптовый скупщик скота и разных припасов (обычно мяса, рыбы) для перепродажи.

Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Анне Лисбет (Анна-Лизбета)

Анне Лисбет была красавица, просто кровь с молоком, молодая, веселая. Зубы сверкали ослепительной белизной, глаза так и горели; легка была она в танцах, еще легче в жизни! Что же вышло из этого? Дрянной мальчишка! Да, некрасив-то он был,

некрасив! Его и отдали на воспитание жене землекопа, а сама Анне Лисбет попала в графский замок, поселилась в роскошной комнате; одели ее в шелк да в бархат. Ветерок не смел на нее пахнуть, никто – грубого слова сказать: это могло расстроить ее, она могла заболеть, а она ведь кормила грудью графчика! Графчик был такой нежный, что твой принц, и хорош собою, как ангелочек. Как Анне Лисбет любила его! Ее же собственный сын ютился в избушке землекопа, где не каша варилась, а больше языки трещали, чаще же всего мальчишка орал в пустой избушке один-одинешенек. Никто не слышал его криков, так некому было и пожалеть! Кричал он, пока не засыпал, а во сне не чувствуешь ведь ни голода, ни холода; сон вообще чудесное изобретение! Годы шли, а с годами и сорная трава вырастает, как говорится; мальчишка Анне Лисбет тоже рос, как сорная трава. Он так и остался в семье землекопа, Анне Лисбет заплатила за это и развязалась с ним окончательно. Сама она стала горожанкой, жилось ей отлично, она даже носила шляпки, но к землекопу с женой не заглядывала никогда – далеко было, да и нечего ей было у них делать! Мальчишка принадлежал теперь им, и так как есть-то он умел, говорили они, то и должен был сам зарабатывать себе на харчи. Пора было ему взяться за дело, вот его и приставили пасти рыжую корову Мадса Йенсена.

Цепной пес на дворе белильщика гордо сидит в солнечные дни на крыше своей конуры и лает на прохожих, а в дождь забирается в конуру; ему там и сухо и тепло. Сынишка Анне Лисбет сидел в солнечные дни у канавы, стругая кол, и мечтал: весной он приметил три цветка земляники, – «наверно, из них выйдут ягоды!» Мысль эта была его лучшей радостью, но ягоды не поспели. В дождь и непогоду он промокал до костей, а резкий ветер просушивал его. Если же случалось ему забраться на барский двор, его угощали толчками и пинками; он такой дрянной, некрасивый, говорили девушки и парни, и он уже привык не знать ни любви, ни ласки!

Так как же сынку Анне Лисбет жилось на белом свете? Что выпало ему на долю? Не зная ни любви, ни ласки!

Наконец его совсем сжили с земли – отправили в море на утлом судне. Он сидел на руле, а шкипер пил. Грязен, прожорлив был

мальчишка; можно было подумать, что он отроду досыта не наедаясь! Да так оно и было.

Стояла поздняя осень, погода была сырая, мглистая, холодная; ветер пронизывал насквозь, несмотря на толстое платье, особенно на море. А в море плыло однопарусное уютное судно всего с двумя моряками на борту, можно даже сказать, что их было всего полтора: шкипер да мальчишка. Весь день стояли мглистые сумерки, к вечеру стало еще темнее; мороз так и щипал. Шкипер принялся прихлебывать, чтобы согреться; бутылка не сходила со стола, рюмка – тоже; ножка у нее была отбита, и вместо нее к рюмке приделана деревянная, выкрашенная в голубой Цвет подставка. «Один глоток – хорошо, два – еще лучше», – думал шкипер. Мальчик сидел на руле, держась за него обеими жесткими, запачканными в дегте руками.

Некрасив он был: волосы жесткие, унылый, забитый вид... Да, вот каково приходилось мальчишке землекопа, по церковным книгам – сыну Анне Лисбет.

Ветер резал волны по-своему, судно по-своему! Парус надулся, ветер подхватил его, и судно понеслось стрелой. Сырость, мгла... Но этим еще не кончилось! Стоп!.. Что такое? Что за толчок? Отчего судно взметнулось? Что случилось? Вот оно завертелось... Что это, хлынул ливень, обдало судно волной?.. Мальчик-рулевой вскрикнул: «Господи Иисусе!» Судно налетело на огромный подводный камень и погрузилось в воду, как старый башмак в канаву, потонуло «со всеми людьми и мышами», как говорится. Мышей-то на нем было много, а людей всего полтора человека: шкипер да сынишка землекопа. Никто не видал крушения, кроме крикливых чаек и рыб морских, да и те ничего не разглядели хорошенько, испуганно метнувшись в сторону, когда вода с таким шумом ворвалась в затонувшее судно. И затонуло-то оно всего на какую-нибудь сажень! Скрыты были под водой шкипер и мальчишка, скрыты и позабыты! На поверхность всплыла только рюмка с голубой деревянной подставкой, – подставка-то и заставила всплыть рюмку. Волны понесли ее и, разбив, выкинули на берег. Когда, где? Не все ли равно; она отслужила свой век, была любима, не то что сын Анне Лисбет! Но, вступив в небесные чертоги, ни одной душе не приходится больше жаловаться на то,

что ей суждено было век не знать ни любви, ни ласки!

Анне Лисбет жила в городе уже много лет, и все звали ее «сударыней». А уж как подымала она нос, если речь заходила о старых временах, когда она жила в графском доме, разъезжала в карете и имела случай разговаривать с графинями да баронессами! И что за красавчик, ангелочек, душка был ее графчик! Как он любил ее, и как она его! Они целовали друг друга, гладили друг друга; он был ее радостью, половиной ее жизни.

Теперь он уж вырос, ему было четырнадцать лет, и он обучался разным наукам. Но она не видала его с тех пор, как еще носила на руках; ни разу за все это время она не побывала в графском замке: далеко было, целое путешествие!

– Когда-нибудь да все-таки надо собраться! – сказала Анне Лисбет. – Надо же мне взглянуть на мое сокровище, моего графчика! И он-то, верно, соскучился обо мне, думает обо мне, любит по-прежнему! Бывало, уцепится своими ручонками за мою шею да и лепечет: «Ан Лис!» Голосок – что твоя скрипка! Да, надо собраться взглянуть на него!

И она отправилась; где проедет конец дороги на возке с телятами, где пешком пройдет, так помаленьку и добралась до графского замка. Замок был все такой же огромный, роскошный; перед фасадом по-прежнему расстилался сад, но слуги все были новые. Ни один из них не знал Анне Лисбет, не знал, что она значила когда-то здесь, в доме. Ну, да сама графиня скажет им, объяснит все, и графчик тоже. Как она соскучилась по нем!

Ну, вот Анне Лисбет и вошла. Долго пришлось ей ждать, а когда ждешь, время тянется еще дольше! Перед тем как господам сесть за стол, ее позвали к графине, которая приняла ее очень благосклонно. Дорогого же графчика своего Анне Лисбет могла увидеть только после обеда. Господа откушали, и ее позвали опять.

Как он вырос, вытянулся, похудел! Но глазки и ротик все те же! Он взглянул на нее, но не сказал ни слова. Он, кажется, не узнал ее. Он уже повернулся, чтобы уйти, как она вдруг схватила его руку и прижала ее к губам. «Ну, ну, хорошо, хорошо!» – сказал он и вышел из комнаты. Он, ее любовь, ее

гордость, сокровище, так холодно обошелся с нею!

Анне Лисбет вышла из замка очень печальная, Он встретил ее как чужую, он совсем не помнил ее, не сказал ей ни слова, ей, своей кормилице, носившей его на руках день и ночь, носившей его и теперь в мыслях!

Вдруг прямо перед ней слетел на дорогу большой черный ворон, каркнул раз, потом еще и еще.

– Ах ты зловеющая птица! – сказала Анне Лисбет. Пришлось ей идти мимо избушки землекопа; на пороге стояла сама хозяйка, и женщины заговорили.

– Ишь ты, как раздобрела! – сказала жена землекопа. – Толстая, здоровая! Хорошо живется, видно!

– Ничего себе! – ответила Анне Лисбет.

– А судно-то с ними погибло! – продолжала та. – Оба утонули – и шкипер Ларс и мальчишка! Конец! А я-то думала, мальчишка вырастет, помогать станет нам! Тебе-то ведь он грош стоил, Анне Лисбет!

– Так они потонули! – сказала Анне Лисбет, и больше они об этом не говорили. Она была так огорчена – графчик не удостоил ее разговором! А она так любила его, пустилась в такой дальний путь, чтобы только взглянуть на него, в такие расходы вошла!.. Удовольствия же – на грош. Но, конечно, она не проговорила о том ни словом, не захотела излить сердца перед женою землекопа: вот еще! Та, пожалуй, подумает, что Анне Лисбет больше не в почете у графской семьи!.. Тут над ней опять каркнул ворон.

– Ах ты черное пугало! – сказала Анне Лисбет. – Что ты все пугаешь меня сегодня!

Она захватила с собою кофе и цикорию; отсыпать щепотку на угощение жене землекопа значило бы оказать бедной женщине сущее благодеяние, а за компанию и сама Анне Лисбет могла выпить чашечку. Жена землекопа пошла варить кофе, а Анне Лисбет присела на стул да задремала. И вот диковина: во сне ей приснился тот, о ком она никогда и не думала! Ей приснился собственный сын, который голодал и ревел в этой самой избушке, рос без призора, а теперь лежал на дне моря, бог ведает где. Снилось ей, что она сидит, где сидела, и что жена землекопа

ушла варить кофе; вот уже вкусно запахло, как вдруг в дверях появился прелестный мальчик, не хуже самого графчика, и сказал ей:

«Теперь конец миру! Держись за меня крепче – все-таки ты мне мать! У тебя есть на небесах ангел-заступник! Держись за меня!»

И он схватил ее; в ту же минуту раздался такой шум и гром, как будто мир лопнул по всем швам. Ангел взвился на воздух и так крепко держал ее за рукав сорочки, что она почувствовала, как отделяется от земли. Но вдруг на ногах ее повисла какая-то тяжесть, и что-то тяжелое навалилось на спину. За нее цеплялись сотни женщин и кричали: «Если ты спасешься, так и мы тоже! Цепляйтесь за нее, цепляйтесь!» И они крепко повисли на ней. Тяжесть была слишком велика, рукав затрещал и разорвался, Анне Лисбет полетела вниз. От ужаса она проснулась и чуть было не упала со стула. В голове у нее была путаница, она и вспомнить не могла, что сейчас видела во сне, – что-то дурное! Попили кофе, поговорили, и Анне Лисбет направилась в ближний городок; там ждал ее крестьянин, с которым она хотела нынче же вечером доехать до дому. Но когда она пришла к нему, он сказал, что не может выехать раньше вечера следующего дня. Она порассчитала, что будет ей стоить прожить в городе лишний день, пораздумала о дороге и сообразила, что если она пойдет не по проезжей дороге, а вдоль берега, то выиграет мили две. Погода была хорошая, ночи стояли светлые, лунные, Анне Лисбет и порешила идти пешком. На другой же день она могла уже быть дома.

Солнце село, но колокола еще звонили... Нет, это вовсе не колокола звонили, а лягушки квакали в прудах. Потом и те смолкли; не слышно было и птичек: маленькие певчие улеглись спать, а совы, должно быть, не было дома.

Безмолвно было и в лесу и на берегу. Анне Лисбет слышала, как хрустел под ее ногами песок; море не плескалось о берег; тихо было в морской глубине: ни живые, ни мертвые не подавали голоса.

Анне Лисбет шла, как говорится, не думая ни о чем; Да, она-то могла обойтись без мыслей, но мысли-то не хотели от нее

отстать. Мысли никогда не отстают от нас, хотя и выдаются минуты, когда они спокойно дремлют в нашей душе, дремлют как те, что уже сделали свое дело и успокоились, так и те, что еще не просыпались в нас. Но настает час, и они просыпаются, начинают бродить в нашей голове, заполняют нас.

«Доброе дело и плод приносит добрый!» – сказано нам. «А в грехе – зародыш смерти», – это тоже сказано. Много вообще нам сказано, но многие ли об этом помнят? Анне Лисбет по крайней мере к таким не принадлежала. Но для каждого рано или поздно наступает минута просветления.

В нашем сердце, во всех сердцах, и в моем и в твоём, скрыты зародыши всех пороков и всех добродетелей. Лежат они там крошечными, невидимыми семенами; вдруг в сердце проникает солнечный луч или прикасается к нему злая рука, и ты сворачиваешь вправо или влево – да, вот этот-то поворот и решает все: маленькое семечко встряхивается, разбухает, пускает ростки, и сок его смешивается с твоею кровью, а тогда уж дело сделано. Страшные это мысли! Но пока человек ходит как в полусне, он не сознает этого, мысли эти только смутно бродят в его голове. В таком-то полусне бродила и Анна Лисбет, а мысли, в свою очередь, начинали бродить в ней! От сретения до сретения сердце успевает занести в свою расчетную книжку многое; на страницах ее ведется годовая отчетность души; все внесено туда, все то, о чем сами мы давно забыли: все наши грешные слова и мысли, грешные перед богом и людьми и перед нашею собственною совестью! А мы и не думаем о них, как не думала и Анна Лисбет. Она ведь не совершила преступления против государственных законов, слыла почтенною женщиной, все уважали ее, о чем же ей было думать?

Она спокойно шла по берегу, вдруг... что это лежит на дороге?! Она остановилась. Что это выброшено на берег? Старая мужская шапка. Как она попала сюда? Видно, смыло ее за борт. Анна Лисбет подошла ближе и опять остановилась... Ах! Что это?! Она задрожала от испуга, а пугаться-то вовсе было нечего: перед ней лежал большой продолговатый камень, опутанный водорослями, – на первый взгляд казалось, что на песке лежит человек. Теперь она разглядела ясно и камень и водоросли, но страх ее

не проходил. Она пошла дальше, и ей припомнилось поверье, которое она слышала в детстве, поверье о береговике, призраке непогребенных утопленников. Сам утопленник никому зла не делает, но призрак его преследует одинокого путника, цепляется за него и требует христианского погребения. «Цепляйся! Цепляйся!» – кричит призрак. Как только Анне Лисбет припомнила это, в ту же минуту ей вспомнился и весь ее сон. Она, словно наяву услышала крик матерей, цеплявшихся за нее: «Цепляйтесь! Цепляйтесь!» Вспомнила она, как рушился мир, как разорвался ее рукав, и она вырвалась из рук своего сына, хотевшего поддержать ее в час Страшного суда. Ее сын, ее собственное, родное, нелюбимое дитя, о котором она ни разу не вспоминала, лежал теперь на дне моря и мог явиться ей в виде берегового призрака с криком: «Цепляйся! Цепляйся! Зарой меня в землю по-христиански!» От этих мыслей у нее даже в пятках закололо, и она прибавила шагу. Ужас сжимал ее сердце, словно кто давил его холодной, влажной рукой. Она готова была лишиться чувств. Туман над морем между тем все густел и густел; все кусты и деревья на берегу тоже были окутаны туманом и приняли странные, диковинные очертания. Анне Лисбет обернулась взглянуть на месяц. У, какой холодный, мертвенный блеск, без лучей! Слово какая-то страшная тяжесть навалилась на Анне Лисбет, члены ее не двигались. «Цепляйся, цепляйся!» – пришло ей на ум. Она опять обернулась взглянуть на месяц, и ей показалось, что его бледный лик приблизился к ней, заглянул ей в самое лицо, а туман повис у нее на плечах, как саван. Она прислушалась, ожидая услышать: «Цепляйся! Цепляйся! Зарой меня!» – и в самом деле раздался какой-то жалобный, глухой стон... Это не лягушка квакнула в пруде, не ворона каркнула – их не было видно кругом. И вот ясно прозвучало: «Зарой меня!» Да, это призрак ее сына, лежащего на дне морском. Не знаять ему покоя, пока его тело не отнесут на кладбище и не предадут земле! Скорее, скорее на кладбище, надо зарыть его! Анне Лисбет повернула по направлению к церкви, и ей сразу стало легче. Она было хотела опять повернуть назад, чтобы кратчайшей дорогой добраться до дому, – не тут-то было! На нее опять навалилась та же тяжесть. «Цепляйся! Цепляйся!» Опять словно

квакнула лягушка, жалобно прокричала какая-то птица, и явственно прозвучало: «Зарой меня! Зарой меня!»

Холодный, влажный туман не редел; лицо и руки Анне Лисбет тоже были холодны и влажны от ужаса. Все тело ее сжимало, как в тисках; зато в голове образовалось обширное поле для мыслей – таких, каких она никогда прежде не знавала.

Весной на севере буковые леса, бывает, распускаются в одну ночь; взойдет солнышко, и они уже в полном весеннем уборе. Так же, в одну секунду, может пустить ростки и вложенное в нас нашу прошлую жизнь – мыслью, словом или делом – семя греха; и в одну же секунду может грех сделаться для нас видимым, в ту секунду, когда просыпается наша совесть. Пробуждает ее господь, и как раз тогда, когда мы меньше всего того ожидаем. И тогда нет для нас оправдания: дело свидетельствует против нас, мысли облекаются в слова, а слова звучат на весь мир. С ужасом глядим мы на то, что носили в себе, не стараясь заглушить, на то, что мы в нашем высокомерии и легкомыслии сеяли в своем сердце. Да, в тайнике сердца кроются все добродетели, но также и все пороки, и те и другие могут развиться даже на самой бесплодной почве.

У Анне Лисбет бродило в мыслях как раз то, что мы сейчас высказали словами; под бременем этих мыслей она опустилась на землю и проползла несколько шагов. «Зарой меня! Зарой меня!» – слышалось ей. Она лучше бы зарылась в могилу сама – в могиле можно было найти вечное забвение! Настал для Анне Лисбет серьезный, страшный час пробуждения совести. Суеверный страх бросал ее то в озноб, то в жар. Многое, о чем она никогда и думать не хотела, теперь пришло ей на ум. Беззвучно, словно тень от облачка в яркую лунную ночь, пронеслось мимо нее видение, о котором она слыхала прежде. Близко-близко мимо нее промчалась четверка фыркающих коней; из очей и ноздрей их сверкало пламя; они везли горевшую как жар карету, а в ней сидел злой помещик, который больше ста лет тому назад бесчинствовал тут, в окрестностях. Рассказывали, что он каждую полночь въезжает на свой двор и сейчас же поворачивает обратно. Он не был бледен, как, говорят, бывают все мертвецы, но черен как уголь. Он кивнул Анне Лисбет и махнул рукой:

«Цепляйся, цепляйся! Тогда опять сможешь ездить в графской карете и забыть свое дитя!»

Анне Лисбет опрометью бросилась вперед и скоро достигла кладбища. Черные кресты и черные вороны мелькали у нее перед глазами. Вороны кричали, как тот ворон, которого она видела днем, но теперь она понимала их карканье. Каждый кричал: «Я воронья мать! Я воронья мать!» И Анне Лисбет знала, что это имя подходит и к ней: и она, быть может, превратится вот в такую же черную птицу и будет постоянно кричать, как они, если не успеет вырыть могилы.

Она бросилась на землю и руками начала рыть в твердой земле могилу; кровь брызнула у нее из-под ногтей.

«Зарой меня! Зарой меня!» – звучало без перерыва. Анне Лисбет боялась, как бы не раздалось пение петуха, не показалась на небе красная полоска зари, прежде чем она выроет могилу, – тогда она погибла! Но вот петух пропел, загорелась заря, а могила была вырыта только наполовину!.. Холодная, ледяная рука скользнула по ее голове и лицу, соскользнула на сердце. «Только полмогилы!» – послышался вздох, и видение опустилось на дно моря. Да, это был береговой призрак! Анне Лисбет, подавленная, упала на землю без сознания, без чувств.

Она пришла в себя только среди бела дня; двое парней подняли ее с земли. Анне Лисбет лежала вовсе не на кладбище, а на самом берегу моря, где выкопала в песке глубокую яму, до крови порезав себе пальцы о разбитую рюмку; острый осколок ее был прикреплен к голубой деревянной подставке. Анне Лисбет была совсем больна. Совесть перетасовала карты суеверия, разложила их и вывела заключение, что у Анне Лисбет теперь только половина души: другую половину унес с собою на дно моря ее сын. Не попасть ей в царство небесное, пока она не вернет себе этой половины, лежащей в глубине моря! Анне Лисбет вернулась домой уже не тем человеком, каким была прежде; мысли ее словно смотались в клубок, и только одна нить осталась у нее в руках: мысль, что она должна отнести береговой призрак на кладбище и предать его земле – тогда она опять обретет всю свою душу.

Много раз схватывались ее по ночам и всегда находили на берегу, где она ожидала береговой призрак. Так прошел целый

год. Однажды ночью она опять исчезла, но найти ее не могли; весь следующий день прошел в бесплодных поисках.

Под вечер пономарь пришел в церковь звонить к вечерне и увидел перед алтарем распростертую на полу Анне Лисбет. Тут она лежала с раннего утра; силы почти совсем оставили ее, но глаза сияли, на лице горел розоватый отблеск заходящего солнца; лучи его падали и на алтарь и играли на блестящих застежках Библии, которая была раскрыта на странице из книги пророка Йоиля: «Раздерите сердца ваши, а не одежды, и обратитесь к господу!» – Ну, случайно так вышло! – говорили потом люди, как и во многих подобных случаях.

Лицо Анне Лисбет, освещенное солнцем, дышало ясным миром и спокойствием; ей было так хорошо! Теперь у нее отлегло от сердца: ночью береговой призрак ее сына явился ей и сказал: «Ты вырыла только полмогилы для меня, но вот уж год ты носишь меня в своем сердце, а в сердце матери самое верное убежище ребенка!» И он вернул ей другую половину ее души и привел ее сюда, в церковь.

«Теперь я в божьем доме, – сказала она, – а тут спасение!»

Когда солнце село, душа ее вознеслась туда, где нечего бояться тому, кто здесь боролся и страдал до конца, как Анне Лисбет.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Колокольный сторож Оле

– В свете всё идёт то в гору, то под гору, то под гору, то в гору! Мне уж выше не подняться! – говаривал колокольный сторож

Оле. – В гору – под гору, под гору – в гору, это всем приходится испытать! Под конец же все мы в сущности становимся колокольными сторожами – смотрим на жизнь и вещи сверху вниз. Так говаривал мой приятель Оле, колокольный сторож, весёлый, словоохотливый старик. Казалось, у него что на уме, то и на языке, но он много чего таил у себя на душе. Происхождения он был хорошего; поговаривали, что он сын важного чиновника, или мог бы быть им; он получил образование, побывал помощником учителя, потом помощником пономаря, но толку из того не вышло! Оле жил у пономаря на всём готовом, а он был в те времена ещё молод и любил таки щегольнуть, как говорится; ну вот, он и требовал для своих сапог глянец-ваксы, а пономарь отпускал ему только простую смазку, оттого они и не поладили. Один заговорил о скупости, другой о суетности; вакса стала чёрною причиной их ссоры, и они расстались. Но требования Оле остались те же: он и от всего света требовал глянец-ваксы, а получал всегда только простую смазку; вот, он и ушёл от людей, сделался отшельником. Но отшельническую келью, да ещё с куском хлеба, можно найти в большом городе только на колокольне. Туда-то и забрался Оле и прохаживался по вышке один-одинёшенек, покуривая свою трубочку. Глядел он вниз, глядел и вверх, и рассказывал о том, что видел и чего не видел, что прочёл в книгах и что в своей душе. Я часто снабжал его книгами, только хорошими: скажи, с кем водишься, и я скажу, кто ты таков! Оле не любил назидательных английских романов, не любил и французских, состряпанных из ветра и изюмных стебельков. Он просил у меня описаний жизни людей и чудес природы. Я навещал Оле по крайней мере раз в год, обыкновенно вскоре после Нового Года: в это время у приятеля моего всегда находилось о чём поговорить, всегда было в запасе что-нибудь такое, имеющее связь с переменой года. Расскажу здесь о двух посещениях, стараясь, по возможности, держаться собственных слов Оле.

Посещение первое

В числе книг, данных мною Оле в последний раз, было одна о валунах; она-то особенно и понравилась ему.

– Вот чей юбилей следует отпраздновать – юбилей валунов! – сказал мне Оле. – А мимо них проходят, даже не замечая их. Я сам так делал, гуляя по полю и по берегу, где их лежат сотни. На мостовой же эти остатки седой старины равнодушно попираются ногами! И я делал тоже! Но теперь я смотрю на каждый камень мостовой с глубоким почтением! Спасибо за эту книжку! Она овладела моим вниманием, освободила меня от старых предрассудков и привычек и возбудила желание прочесть побольше таких книг. Роман земли всё-таки интереснее всех романов! Жаль только, что нельзя прочесть первых его глав: они написаны на таком языке, которому мы не учились; приходится читать по слоям, кремневым пластам различных земных периодов, а действующие лица, Адам и Ева, появляются только в шестой главе. Некоторым читателям такое появление кажется несколько запоздалым: им подавай живых лиц в самом начале земного романа, ну, а мне – всё равно. Да, вот роман со сказочным содержанием, и все мы выведены в нём! Мы барахтаемся, копошимся, ползаем и – всё ни с места, а шар-то вертится себе да вертится, не выливая на нас океана. Корка, по которой мы ходим, тверда, так что мы не проваливаемся, и вот, роман тянется миллионы лет, а продолжение всё впереди. Спасибо за книгу о валунах! Вот молодцы! Умей они говорить, они бы рассказали кое о чём! Право, забавно этак, сидя тут, на вышке, превратиться в нуль, вспомнив, что все мы, со всею нашею глянец-ваксой, орденами, движением вперёд – только минутные муравьи на земной куче! Да, чувствуешь себя таким молокососом в сравнении с этими миллионолетними валунами, что просто неловко становится. Я читал книгу как раз под Новый Год и так углубился в неё, что позабыл доставить себе обычное удовольствие – поглядеть, как «мчится на Амагер дикая орда». Да, вы-то, пожалуй, об этом и не знаете!

О полёте ведьм на шабаш знают все; это бывает в Иванову ночь, и слетаются они на гору Брокен. Но у нас бывает свой туземный и современный шабаш на Амагере в ночь под Новый Год. Все плохие поэты и поэтессы, музыканты, журналисты и другие, никуда не годные, артистические величины, мчатся, в ночь под Новый Год, по воздуху на Амагер; летят они верхом на кисточках

или гусиных перьях, – стальные не годятся: слишком тверды, не гнутся. Я, как сказано, смотрю на путешествие дикой орды каждый год и многих из путешественников мог бы назвать вам по именам – не стоит только связываться! Им смерть не хочется, чтобы люди знали об их ежегодном ночном путешествии, верхом на перьях, на Амагер, но у меня есть одна дальняя родственница, торговка рыбой и поставщица бранных слов в три уважаемые газеты – как она говорит – и она раз присутствовала на таком шабаше в качестве гостыи. Её принесли туда, так как сама она не держит в руках пера и верхом ездить не умеет. Так вот, она-то мне обо всём и рассказала. Половина из её рассказов – ложь, но и остальной половины довольно. Начался праздник песнями; каждый из гостей написал свою и пел свою, – она, ведь, была лучше всех! Да и не всё ли равно? Все пели на один лад! Затем, «труженики языка» маршировали небольшими кучками. Тут были и звонари, что звонят по домам, и маленькие барабанчики, что барабанят в семействах. Потом те, кому нужно было, познакомились с писаками, что пускают свои статейки без подписи – чтобы смазка могла сойти за глянец-ваксу! Между ними был палач и его подручный; подручный-то и был самым резким на язык, – иначе на него, ведь, не обратили бы внимания! Был тут и мусорщик, который вываливал из ящика мусор, приговаривая: «Хорошо, очень хорошо, замечательно хорошо!» В самый разгар «веселья» из помойной ямы вырос стебель, дерево, чудовищный цветок, огромный гриб, целая крыша; это была «ёлка» честного собрания; на ней было навешано всё, что они в продолжении старого года дали миру. От неё сыпались искры, – словно блуждающие огоньки летали; это были заимствованные мысли и взятые напрокат идеи, которыми участники веселья пользовались; теперь они освободились и взлетели на воздух фейерверком. Началась игра в «жгут горит»; поэтики же играли в «сердце горит», краснобаи сыпали остротами, – иначе они не могут – и остроты гремели, точно разбивались о двери пустые горшки или горшки с золою. Ужасно весело было – по словам моей родственницы! Собственно говоря, она высыпала ещё с три короба злых, но остроумных замечаний, но я не стану повторять их: надо быть добрыми людьми, а не критиками. Теперь вы поймёте,

что я, зная о таком празднике, не упускаю случая ежегодно, в ночь под Новый год, посмотреть, как мчится дикая орда. Иной год случается мне хватиться некоторых прошлогодних путешественников, зато прибавляется обыкновенно и несколько новых. Нынешний же год я прозевал зрелище, катясь вместе с валунами через миллионы лет. Я видел, как они отрывались от скал Севера, скатывались вниз, плавали на льдинах задолго до построения Ноева Ковчега, падали в воду, погружались на дно и вновь подымались на поверхность вместе с песчаной отмелью, которая говорила: «Здесь будет Зеландия!» Я видел, как эти камни служили седалищем для неизвестных нам пород птиц, тронем для предводителей диких дружин, имён которых мы тоже не знаем; видел, наконец, как на некоторых из камней вырубали топором рунические знаки. Этим камням таким образом отведено место в счислении времени, зато сам я окончательно потерял всякое представление о времени, превратился в нуль... В это время с неба упали три-четыре прелестные звёздочки, и мысли мои приняли другой оборот. Вы знаете, что такое падающие звёзды? Учёные, ведь, этого не знают! Я смотрю на них по-своему.

Как часто посылают люди тайное, немое спасибо человеку, совершившему нечто прекрасное, доброе; спасибо это беззвучно, но оно не пропадает даром. По-моему, это молчаливое, тайное спасибо подхватывается солнечным лучом, который затем и возлагает его на голову благодетеля. Если же случается, что целый народ посылает такое спасибо давно умершему благодетелю, с неба падает на его могилу яркий букет – звёздочка. И мне доставляет истинное удовольствие угадывать, – особенно в ночь под Новый Год – кому назначается этот благодарственный букет. В последний раз звезда упала на юго-западный берег; это было спасибо многим, многим! Кому же именно? По-моему, звезда, наверное, упала на крутой берег Фленсбургского залива, где веет «Данеброг» над могилами Шлэппегреля, Лэссё^[1] и их товарищей. Потом раз я видел, как скатилась звезда в самую середину страны – в Сорё, на могилу Гольберга. Это было спасибо от многих читателей его дивных комедий!

И что за великая, радостная мысль – сознавать, что на твою

могилу скатится такая звёздочка!.. На мою-то не упадёт ни одна, ни один солнечный луч не принесёт мне спасибо, – не за что! Мне не удалось добиться глянец-ваксы; моя судьба довольствоваться простою смазкой.

Посещение второе

В первый день Нового Года я поднялся на колокольню, и Оле заговорил о тостах, которые осушаются по случаю перехода от старой «канители» – как он назвал год – к новой. Тут я услышал от него историю о бокалах, и в ней была недурная мысль.

– Едва часы в ночь под Новый Год пробьют двенадцать, люди встают с мест с полными бокалами в руках и пьют за здоровье Нового Года. Год начинают с бокалами в руках, – недурное начало для пьяниц! Начинают год тем, что ложатся спать, – хорошее начало для лентяев! И сон, и бокалы действительно играют в течение года немалую роль! А знаете вы, что в бокалах? – спросил меня Оле. – В них здоровье, радость и веселье! Но в них же и злополучие и величайшие несчастья! Считая бокалы, я, конечно, подразумеваю степени опьянения.

Вот первый бокал, бокал здоровья! В нём растёт цветок здоровья; посади его в своём доме, и к концу года будешь сидеть в беседке здоровья!

Возьмёте второй бокал – из него вылетает птичка; она невинно-радостно щебечет; человек прислушивается и невольно подпевает ей: «Жизнь прекрасна! Не надо вешать носа! Смело вперёд!»

Из третьего бокала вылетает маленькое крылатое существо; ангелочком его назвать нельзя, – он из породы домовых, но не издевается, а только шутит. Он прильнёт к уху человека и начнёт нашёптывать забавные выдумки, уляжется у его сердца, и так согревает его, что человеку хочется шалить и острить, и он действительно становится остряком, по мнению других таких же остряков.

В четвёртом бокале нет ни цветка, ни птички, ни крылатого шалуна; в нём черта, проводимая разумом, и за неё никогда не следует переходить.

Если же возьмёшь пятый бокал, заплачешь над самим собою, растрогаешься или, наоборот, расшумишься: из бокала выскочит с

треском принц Карнавал, невоздержанный на язык, шальной!.. Он увлечёт тебя, ты забудешь своё достоинство – если оно у тебя есть! Забудешь многое, больше чем можешь и смеешь. Пляска, пение, звон бокалов!.. Маски увлекают тебя в бешеный вихрь... Перед тобой дочери сатаны в газе и шёлке, с распущенными волосами, стройные, красивые... Оторвись от них, коли сможешь! Шестой бокал!.. В нём уж сидит сам сатана, прекрасно одетый, красноречивый, привлекательный, в высшей степени приятный человек! Он вполне понимает тебя, находит, что ты прав всегда и во всём, он – твоё второе «я»; он является с фонарём, чтобы проводить тебя восвояси. Да, в одной старой легенде рассказывается о святом, который должен был выбрать один из семи смертных грехов, и выбрал, как ему казалось, наименьший – пьянство, но, благодаря ему, впал и во все остальные. В шестом бокале кровь сатаны, смешанная с человеческою. Только выпей его – все дурные семена, что прячутся в твоей душе, пустят ростки, и каждое разрастётся, подобно евангельскому горчичному зерну, в целое дерево, которое может покрыть свою тень весь свет. Большинству людей остаётся после этого только отправиться в переплавку!

Вот вам история бокалов! – заключил Оле. – Её можно подавать под соусом и из глянец-ваксы, и из простой смазки. Я подаю её под обоими.

Это было моё второе посещение Оле; захочешь послушать ещё, придётся продолжать посещения^[2].

^[1] Датские офицеры, павшие геройскою смертью в первую датско-прусскую войну (1848–1850 г.)

^[2] Семь лет спустя (1868 г.) автор и написал такое продолжение под заглавием «День переезда»;



 Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Девочка, наступившая на хлеб

Вы, конечно, слышали о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков, слышали и о том, как плохо ей потом пришлось. Об этом и написано, и напечатано.

Она была бедная, но гордая и спесивая девочка. В ней, как говорится, были дурные задатки. Крошкой она любила ловить мух и обрывать у них крылышки; ей нравилось, что мухи из летающих насекомых превращались в ползающих. Ловила она также майских и навозных жуков, насаживала их на булавки и подставляла им под ножки зелёный листик или клочок бумаги. Бедное насекомое ухватывалось ножками за бумагу, вертелось и изгибалось, стараясь освободиться от булавки, а Инге смеялась:

– Майский жук читает! Ишь, как переворачивает листок!

С летами она становилась скорее хуже, чем лучше; к несчастью своему она была прехорошенькая, и ей хоть и доставались щелчки, да всё не такие, какие следовали.

– Крепкий нужен щелчок для этой головы! – говаривала её родная мать. – Ребёнком ты часто топтала мой передник, боюсь, что выросши, ты растопчешь мне сердце!

Так оно и вышло.

Инге поступила в услужение к знатным господам, в помещичий дом. Господа обращались с нею, как с своею родною дочерью, и в новых нарядах Инге, казалось, ещё похорошела, зато и спесь её всё росла, да росла.

Целый год прожила она у хозяев, и вот, они сказали ей:

– Ты бы навестила своих стариков, Инге!

Инге отправилась, но только для того, чтобы показаться родным в полном своём параде. Она уже дошла до околицы родной

деревни, да вдруг увидела, что около пруда стоят и болтают девушки и парни, а неподалеку на камне отдыхает её мать с охапкой хвороста, собранного в лесу. Инге – марш назад: ей стало стыдно, что у неё, такой нарядной барышни, такая оборванная мать, которая вдобавок сама таскает из лесу хворост. Инге даже не пожалела, что не повидалась с родителями, ей только досадно было.

Прошло ещё полгода.

– Надо тебе навестить своих стариков, Инге! – опять сказала ей госпожа. – Вот тебе белый хлеб, снеси его им. То-то они обрадуются тебе!

Инге нарядилась в самое лучшее платье, надела новые башмаки, приподняла платьице и осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкать башмачков, – ну, за это и упрекать её нечего. Но вот, тропинка свернула на болотистую почву; приходилось пройти по грязной луже. Не долго думая, Инге бросила в лужу свой хлеб, чтобы наступить на него и перейти лужу, не замочив ног. Но едва она ступила на хлеб одной ногой, а другую приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, хлеб начал погружаться с нею всё глубже и глубже в землю, – только чёрные пузыри пошли по луже!

Вот какая история!

Куда же попала Инге? К болотнице в пивоварню. Болотница приходится тёткой лешим и лесным девам; эти-то всем известны: про них и в книгах написано, и песни сложены, и на картинах их изображали не раз, о болотнице же известно очень мало; только когда летом над лугами подымается туман, люди говорят: это «болотница пиво варит!» Так вот, к ней-то в пивоварню и провалилась Инге, а тут долго не выдержишь! Клоака – светлый, роскошный покой в сравнении с пивоварней болотницы! От каждого чана разит так, что человека тошнит, а таких чанов тут видимо-невидимо, и стоят они плотно-плотно один возле другого; если же между некоторыми и отыщется где щёлочка, то тут сейчас наткнёшься на съжившихся в комок мокрых жаб и жирных лягушек. Да, вот куда попала Инге! Очутившись среди этого холодного, липкого, отвратительного живого месива, Инге задрожала и почувствовала, что её тело начинает коченеть. Хлеб крепко

прильнул к её ногам и тянул её за собою, как янтарный шарик соломинку.

Болотница была дома; пивоварню посетили в этот день гости: чёрт и его прабабушка, ядовитая старушка. Она никогда не бывает праздною, даже в гости берёт с собою какое-нибудь рукоделье: или шьёт из кожи башмаки, надев которые, человек делается непоседой, или вышивает сплетни, или, наконец, вяжет необдуманные слова, срывающиеся у людей с языка, – всё во вред и на пагубу людям! Да, чёртова прабабушка – мастерица шить, вышивать и вязать!

Она увидела Инге, поправила очки, посмотрела на неё ещё и сказала: «Да она с задатками! Я попрошу вас уступить её мне в память сегодняшнего посещения! Из неё выйдет отличный истукан для передней моего правнука!»

Болотница уступила ей Инге, и девочка попала в ад, – люди с задатками могут попасть туда и не прямым путём, а окольным!

Передняя занимала бесконечное пространство; поглядеть вперёд – голова закружится, оглянуться назад – тоже. Вся передняя была запружена изнемогающими грешниками, ожидавшими, что вот-вот двери милосердия отворятся. Долгонько приходилось им ждать! Большущие, жирные, переваливающиеся с боку на бок пауки оплели их ноги тысячетнею паутиной; она сжимала их, точно клещами, сковывала крепче медных цепей. Кроме того, души грешников терзались вечною мучительною тревогой. Скупой, например, терзался тем, что оставил ключ в замке своего денежного ящика, другие... да и конца не будет, если примемся перечислять терзания и муки всех грешников!

Инге пришлось испытать весь ужас положения истукана; ноги её были словно привинчены к хлебу.

«Вот и будь опрятной! Мне не хотелось запачкать башмаков, и вот, каково мне теперь!» говорила она самой себе. «Ишь, тарашатся на меня!» Действительно, все грешники глядели на неё; дурные страсти так и светились в их глазах, говоривших без слов; ужас брал при одном взгляде на них!

«Ну, на меня-то приятно и посмотреть!» думала Инге. «Я и сама хорошенькая и одета нарядно!» И она повела на себя глазами, – шея у неё не ворочалась. Ах, как она выпачкалась в пивоварне

болотницы! Об этом она и не подумала! Платье её всё сплошь было покрыто слизью, уж вцепился ей в волосы и хлопал её по шее, а из каждой складки платья выглядывали жабы, лаявшие, точно жирные охрипшие моськи. Страсть, как было неприятно! «Ну, да и другие-то здесь выглядят не лучше моего!» утешала себя Инге.

Хуже же всего было чувство страшного голода. Неужели ей нельзя нагнуться и отломить кусочек хлеба, на котором она стоит? Нет, спина не сгибалась, руки и ноги не двигались, она вся будто окаменела и могла только поводить глазами во все стороны, кругом, даже выворачивать их из орбит и глядеть назад. Фу, как это выходило гадко! И вдобавок ко всему этому явились мухи и начали ползать по её глазам взад и вперёд; она моргала глазами, но мухи не улетали, – крылья у них были общипаны, и они могли только ползать. Вот была мука! А тут ещё этот голод! Под конец Инге стало казаться, что внутренности её пожрали самих себя, и внутри у неё стало пусто, ужасно пусто!

– Ну, если это будет продолжаться долго, я не выдержу! – сказала Инге, но выдержать ей пришлось; перемены не наступало. Вдруг, на голову ей капнула горячая слеза, скатилась по лицу на грудь и потом на хлеб; за нею другая, третья, целый град слёз. Кто же мог плакать об Инге?

А разве у неё не оставалось на земле матери? Горькие слёзы матери, проливаемые ею из-за своего ребёнка, всегда доходят до него, но не освобождают его, а только жгут, увеличивая его муки. Ужасный, нестерпимый голод был, однако, хуже всего! Топтать хлеб ногами, и не быть в состоянии отломить от него хоть кусочек! Ей казалось, что всё внутри её пожрало само себя, и она стала тонкою, пустою тростинкой, втягивавшею в себя каждый звук. Она явственно слышала всё, что говорили о ней там наверху, а говорили-то одно дурное. Даже мать её, хоть и горько, искренно оплакивала её, всё-таки повторяла: «Спесь до добра не доводит! Спесь и сгубила тебя, Инге! Как ты огорчила меня!»

И мать Инге, и все там наверху уже знали о её грехе, знали, что она наступила на хлеб и провалилась сквозь землю. Один пастух видел всё это с холма и рассказал другим.

– Как ты огорчила свою мать, Инге! – повторяла мать. – Да я другого и не ждала!

«Лучше бы мне и не родиться на свет!» думала Инге. «Какой толк из того, что мать теперь хнычет обо мне!»

Слышала она и слова своих господ, почтенных людей, обращавшихся с нею, как с дочерью: «Она большая грешница! Она не чтит даров Господних, попирает их ногами! Не скоро откроются для неё двери милосердия!»

«Воспитывали бы меня получше, построже!» думала Инге.

«Выгоняли бы из меня пороки, если они во мне сидели!»

Слышала она и песню, которую сложили о ней люди, песню «о спесивой девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать башмаков». Все распевали её.

«Как подумаю, чего мне ни пришлось выслушать и выстрадать за мою провинность!» думала Инге. «Пусть бы и другие поплатились за свои! А скольким бы пришлось! У, как я терзаюсь!»

И душа Инге становилась ещё грубее, жёстче её оболочки.

– В таком обществе, как здесь, лучше не станешь! Да я и не хочу! Ишь, таращатся на меня! – говорила она и вконец ожесточилась и озлобилась на всех людей. – Обрадовались, нашли теперь, о чём галдеть! У, как я терзаюсь!

Слышала она также, как историю её рассказывали детям, и малытки называли её «безбожницею». – Она такая гадкая! Пусть теперь помучается хорошенько! – говорили дети.

Только одно дурное слышала о себе Инге из детских уст.

Но вот раз, терзаясь от голода и злобы, слышит она опять своё имя и свою историю. Её рассказывали одной невинной, маленькой девочке, и малытка вдруг залилась слезами о спесивой, суетной Инге.

– И неужели она никогда не вернётся сюда, наверх? – спросила малытка.

– Никогда! – ответили ей.

– А если она попросит прощения, обещает никогда больше так не делать?

– Да она вовсе не хочет просить прощения!

– Ах, как бы мне хотелось, чтобы она попросила прощения! – сказала девочка и долго не могла утешиться. – Я бы отдала свой

кукольный домик, только бы ей позволили вернуться на землю! Бедная, бедная Инге!

Слова эти дошли до сердца Инге, и ей стало как будто полегче: в первый раз нашлась живая душа, которая сказала: «бедная, Инге!» и не прибавила ни слова о её грехе. Маленькая, невинная девочка плакала и просила за неё!.. Какое-то странное чувство охватило душу Инге; она бы, кажется, заплакала сама, да не могла, и это было новым мучением.

На земле годы летели стрелою, под землёю же всё оставалось по-прежнему. Инге слышала своё имя всё реже и реже, – на земле вспоминали о ней всё меньше и меньше. Но однажды долетел до неё вздох: «Инге! Инге! Как ты огорчила меня! Я всегда это предвидела!» Это умирала мать Инге.

Слышала она иногда своё имя и из уст старых хозяев. Хозяйка, впрочем, выражалась всегда смиренно: «Может быть, мы ещё свидимся с тобою, Инге! Никто не знает, куда попадёт!»

Но Инге-то знала, что её почтенной госпоже не попасть туда, куда попала она.

Медленно, мучительно медленно ползло время.

И вот, Инге опять услышала своё имя и увидела, как над нею блеснули две яркие звёздочки: это закрылась на земле пара кротких очей. Прошло уже много лет с тех пор, как маленькая девочка неутешно плакала о «бедной Инге»; малютка успела вырасти, состариться и была отозвана Господом Богом к Себе. В последнюю минуту, когда в душе вспыхивают ярким светом воспоминания целой жизни, вспомнились умирающей и её горькие слёзы об Инге, да так живо, что она невольно воскликнула: «Господи, может быть, и я, как Инге, сама того не ведая, попирала ногами Твои всеблагие дары, может быть, и моя душа была заражена спесью, и только Твоё милосердие не дало мне пасть ниже, но поддержало меня! Не оставь же меня в последний мой час!»

И телесные очи умирающей закрылись, а духовные отверзлись, и так как Инге была её последнею мыслью, то она и узрела своим духовным взором то, что было скрыто от земного – увидела, как низко пала Инге. При этом зрелище благочестивая душа залилась слезами и явилась к престолу Царя Небесного, плача и молясь о

грешной душе так же искренно, как плакала ребёнком. Эти рыдания и мольбы отдались эхом в пустой оболочке, заключавшей в себе терзающуюся душу, и душа Инге была как бы подавлена этой нежданной любовью к ней на небе. Божий ангел плакал о ней! Чем она заслужила это? Измученная душа оглянулась на всю свою жизнь, на всё содеянное ею и залилась слезами, каких никогда не знавала Инге. Жалость к самой себе наполнила её: ей казалось, что двери милосердия останутся для неё запертыми навеки вечные! И вот, едва она с сокрушением сознала это, в подземную пропасть проник луч света, сильнее солнечного, который растопляет снежного истукана, слепленного на дворе мальчуганами, и быстрее, чем тает на тёплых губках ребёнка снежинка, растаяла окаменелая оболочка Инге. Маленькая птичка молнией взвилась из глубины на волю. Но, очутившись среди белого света, она съёжилась от страха и стыда, – она всех боялась и стыдилась и поспешно спряталась в тёмную трещину в какой-то полуразрушившейся стене. Тут она и сидела, съёжившись, дрожа всем телом, не издавая ни звука, – у неё и не было голоса. Долго сидела она так, прежде чем осмелилась оглядеться и полюбоваться великолепием Божьего мира. Да, великолепен был Божий мир! Воздух был свеж и мягок, ярко сиял месяц, деревья и кусты благоухали; в уголке, где укрылась птичка, было так уютно, а платьице на ней было такое чистенькое, нарядное. Какая любовь, какая красота были разлиты в Божием мире! И все мысли, что шевелились в груди птички, готовы были вылиться в песне, но птичка не могла петь, как ей ни хотелось этого; не могла она ни прокуковать, как кукушка, ни защёлкать, как соловей! Но Господь слышит даже немую хвалу червяка и услышал и эту безгласную хвалу, что мысленно неслась к небу, как псалом, звучавший в груди Давида, прежде нежели он нашёл для него слова и мелодию.

Немая хвала птички росла день ото дня и только ждала случая вылиться в добром деле.

Настал сочельник. Крестьянин поставил у забора шест и привязал к верхушке его необмолоченный сноп овса – пусть и птички весело справят праздник Рождества Спасителя!

В рождественское утро встало солнышко и осветило сноп; живо

налетели на угощение щebetуњи-птички. Из расщелины в стене тоже раздалось: «пи! пи!» Мысль вылилась в звуке, слабый писк был настоящим гимном радости: мысль готовилась воплотиться в добром деле, и птичка вылетела из своего убежища. На небе знали, что это была за птичка.

Зима стояла суровая, воды были скованы толстым льдом, для птиц и зверей лесных наступили трудные времена. Маленькая пташка летала над дорогой, отыскивая и находя в снежных бороздах, проведённых санями, зёрнышки, а возле стоянок для кормёжки лошадей – крошки хлеба; но сама она съедала всегда только одно зёрнышко, одну крошку, а затем сзывала кормиться других голодных воробышков. Летала она и в города, осматривалась кругом и, завидев накрошенные из окна милосердной рукой кусочки хлеба, тоже съедала лишь один, а всё остальное отдавала другим.

В течение зимы птичка собрала и раздала такое количество хлебных крошек, что все они вместе весили столько же, сколько хлеб, на который наступила Инге, чтобы не запачкать башмаков. И когда была найдена и отдана последняя крошка, серые крылья птички превратились в белые и широко распустились.

– Вон летит морская ласточка! – сказали дети, увидав белую птичку. Птичка то ныряла в волны, то взвивалась навстречу солнечным лучам, и вдруг исчезла в этом сиянии. Никто не видал, куда она делась. – Она улетела на солнышко! – сказали дети.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана

Андерсена. Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях



Пронесется ветер над травой, и по ней пробежит зыбь, как по воде; пронесется над нивою, и она взволнуется, как море. Так танцует ветер. А послушай его рассказы! Он поет их, и голос его звучит по-разному: в лесу – так, в слуховых окнах, щелях и трещинах стен – иначе. Видишь, как он гонит по небу облака, точно стада овец?

Слышишь, как он воет в открытых воротах, будто сторож трубит в рог? А как странно гудит он в дымоходе, врываясь в камин! Пламя вспыхивает и разлетается искрами, озаряя дальние углы комнаты, и сидеть тут, слушая его, тепло и покойно. Пусть рассказывает только он один! Сказок и историй он знает больше, чем все мы, вместе взятые. Слушай же, он начинает рассказ!

«У-у-уу! Лети дальше!» – это его припев.

– На берегу Большого Бельта стоит старый замок с толстыми красными стенами, – начал ветер. – Я знаю там каждый камень, я видел их все, еще когда они сидели в стенах замка Марека Стига. Замок снесли, а камни опять пошли в дело, из них сложили новые стены, новый замок, в другом месте – в усадьбе Борребю, он стоит там и поныне.

Знавал я и высокородных владельцев и владетельниц замка, много их поколений сменилось на моих глазах. Сейчас я расскажу о Вальдемаре До и его дочерях!

Высоко держал он свою голову – в нем текла королевская кровь. И умел он не только оленей травить да кубки осушать, а кое-что

получше, а что именно – «поживем-увидим», говаривал он.

Супруга его, облаченная в парчовое платье, гордо ступала по блестящему мозаичному полу. Роскошна была обивка стен, дорого плачено за изящную резную мебель. Много золотой и серебряной утвари принесла госпожа в приданое. В погребах хранилось немецкое пиво – пока там вообще чтолибо хранилось. В конюшнях ржали холеные вороные кони. Богато жили в замке Ворребю – пока богатство еще держалось.

Были у хозяев и дети, три нежных девушки: Ида, Йоханна и Анна Дортея. Я еще помню их имена.

Богатые то были люди, знатные, родившиеся и выросшие в роскоши. У-у-уу! Лети дальше! – пропел ветер и продолжал свой рассказ: – Тут не случилось мне видеть, как в других старинных замках, чтобы высокородная госпожа вместе со своими девушками сидела в парадном зале за прялкой. Нет, она играла на звучной лютне и пела, да не одни только старые датские песни, а и чужеземные, на других языках. Тут шло гостеванье и пированье, гости наезжали и из дальних и из ближних мест, гремела музыка, звенели бокалы, и даже мне не под силу было их перекрыть! Тут с блеском и треском гуляла спесь, тут были господа, но не было радости.

Стоял майский вечер, – продолжал ветер, – я шел с запада. Я видел, как разбивались о ютландский берег корабли, я пронесся над вересковой пустошью и зеленым лесистым побережьем, я, запыхавшись и отдуваясь, прошумел над островом Фюн и Большим Бельтом и улегся только у берегов Зеландии, близ Борребю, в великолепном дубовом лесу – он был еще цел тогда.

По лесу бродили парни из окрестных деревень и собирали хворост и ветви, самые крупные и сухие. Они возвращались с ними в селение, складывали их в кучи, поджигали и с песнями принимались плясать вокруг. Девушки не отставали от парней.

Я лежал смирно, – рассказывал ветер, – и лишь тихонько дул на ветку, положенную самым красивым парнем. Она вспыхнула, вспыхнула ярче всех, и парня назвали королем праздника, а он выбрал себе из девушек королеву. То-то было веселья и радости – больше, чем в богатом господском замке Борребю.

Тем временем к замку подъезжала запряженная шестерней

золоченая карета. В ней сидела госпожа и три ее дочери, три нежных, юных, прелестных цветка: роза, лилия и бледный гиацинт. Сама мать была как пышный тюльпан и не отвечала ни на один книксен, ни на один поклон, которыми приветствовали ее приостановившие игру поселяне. Тюльпан словно боялся сломать свой хрупкий стебель.

«А вы, роза, лилия и бледный гиацинт, – да, я видел их всех троих, – чьими королевами будете вы? – думал я. – Вашим королем будет гордый рыцарь, а то, пожалуй, и принц!» У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше!

Так вот, карета проехала, и поселяне вновь пустились в пляс. Госпожа совершала летний объезд своих владений – Борребю, Тьеребю, всех селений окрест.

А ночью, когда я поднялся, – продолжал ветер, – высокородная госпожа легла, чтобы уже не встать. С нею случилось то, что случается со всеми людьми, ничего нового. Вальдемар До стоял несколько минут серьезный и задумчивый. Гордое дерево гнется, но не ломается, думалось ему. Дочери плакали, дворня тоже утирала глаза платками. Госпожа До поспешила дальше из этого мира, полетел дальше и я! У-у-уу! – сказал ветер.

Я вернулся назад – я часто возвращался, – проносясь над островом Фюн и Большим Бельтом, и улегся на морской берег в Борребю, близ великолепного дубового леса. В нем вили себе гнезда орланы, вяхири, синие вороны и даже черные аисты. Стояла ранняя весна. Одни птицы еще сидели на яйцах, другие уже вывели птенцов. Ах, как летали, как кричали птичьи стаи! В лесу раздавались удары топоров, дубы были обречены на сруб. Вальдемар До собирался построить дорогой корабль – военный трехпалубный корабль, его обещал купить король. Вот почему валили лес – приметку моряков, прибежище птиц. Летали кругами испуганные сорокопуть – их гнезда были разорены. Орланы и прочие лесные птицы лишались своих жилищ. Они как шальные кружили в воздухе, крича от страха и злобы. Я понимал их. А вороны и галки кричали громко и насмешливо: «Крах! Вон из гнезда! Крах! Крах!»

Посреди леса, возле артели лесорубов, стояли Вальдемар До и три его дочери. Все они смеялись над дикими криками птиц, все,

кроме младшей, Анны Дортеи. Ей было жаль птиц, и когда настал черед полусохшего дуба, на голых ветвях которого ютилось гнездо черного аиста с уже выведенными птенцами, она попросила не рубить дерево, попросила со слезами на глазах, и дуб пощадили ради черного аиста – стоило ли разговаривать из-за одного дерева!

Затем пошла пилка и рубка – строили трехпалубный корабль. Сам строитель был незнатного рода, но благородной души человек. Глаза и лоб обличали в нем ум, и Вальдемар До охотно слушал его рассказы. Заслушивалась их и молоденькая Ида, старшая дочь, которой было пятнадцать лет. Строитель же, сооружая корабль для Вальдемара До, строил воздушный замок и для себя, в котором он и Ида сидели рядышком, как муж и жена. Так оно и случилось бы, будь его замок с каменными стенами, с валами и рвами, с лесом и садом. Только где уж воробью соваться в танец журавлей! Как ни умен был молодой строитель, он все же был бедняк. У-у-уу! Умчался я, умчался и он – не смел он больше там оставаться, а Ида примирилась со своей судьбой, что же ей было делать?..

В конюшнях ржали вороные кони, на них стоило поглядеть, и на них глядели. Адмирал, посланный самим королем для осмотра и покупки нового военного корабля, громко восхищался ретивыми конями. Я хорошо все слышал, ведь я прошел за господами в открытые двери и сыпал им под ноги золотую солому, – рассказывал ветер. – Вальдемар До хотел получить золото, а адмирал – вороных коней, оттого-то он и нахваливал их. Но его не поняли, и дело не сладилось. Корабль как стоял, так и остался стоять на берегу, прикрытый досками, – ноев ковчег, которому не суждено было пуститься в путь. У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше! Жалко было смотреть на него!

Зимой, когда земля лежала под снегом, плавучие льды забили весь Бельт, а я нагонял их на берег, – говорил ветер. – Зимой прилетали стаи ворон и воронов, одни чернее других. Птицы садились на заброшенный, мертвый, одинокий корабль, стоявший на берегу, и хрипло кричали о загубленном лесе, о разоренных дорогих им гнездах, о бесприютных старых птицах о бездомных молодых, и все ради этого величественного хлама – гордого

корабля, которому не суждено выйти в море.

Я вскрытил снежный вихрь, и снег ложился вокруг корабля и накрывал его, словно разбушевавшиеся волны. Я дал ему послушать свой голос и музыку бури. Моя совесть чиста: я сделал свое дело, познакомил его со всем, что полагается знать кораблю. У-у-уу! Лети дальше!

Прошла и зима. Зима и лето проходят, как проношусь я, как проносится снег, как облетает яблоневый цвет и падают листья. Лети дальше! Лети дальше! Лети дальше! Так же и с людьми...

Но дочери были еще молоды. Ида по-прежнему цвела, словно роза, как и в то время, когда любовался ею строитель корабля. Я часто играл ее распущенными русыми волосами, когда она задумчиво стояла под яблоней в саду, не замечая, как я осыпаю ее цветами. Она смотрела на красное солнышко и золотой небосвод, просвечивавший между темными деревьями и кустами.

Сестра ее, Йоханна, была как стройная блестящая лилия; она была горда и надменна и с такой же тонкой талией, какая была у матери. Она любила заходить в большой зал, где висели портреты предков. Знатные дамы были изображены в бархатных и шелковых платьях и затканых жемчугом шапочках, прикрывавших заплетенные в косы волосы. Как прекрасны были они! Мужья их были в стальных доспехах или дорогих мантиях на беличьем меху с высокими стоячими голубыми воротниками. Мечи они носили не на пояснице, а у бедра. Где-то будет висеть со временем портрет Йоханны, как-то будет выглядеть ее благородный супруг? Вот о чем она думала, вот что беззвучно шептали ее губы. Я подслушал это, когда ворвался в зал по длинному проходу и, переменявшись, понесся вспять.

Анна Дортея, еще четырнадцатилетняя девочка, была тиха и задумчива. Большие синие, как море, глаза ее смотрели серьезно и грустно, но на устах порхала детская улыбка. Я не мог ее сдуть, да и не хотел.

Я часто встречал Анну Дортею в саду, на дороге и в поле. Она собирала цветы и травы, которые могли пригодиться ее отцу: он приготавливал из них питье и капли. Вальдемар До был не только заносчив и горд, но и учен. Он много знал. Все это видели, все об этом шептались. Огонь пылал в его камине даже в летнее

время, а дверь была на замке. Он проводил взаперти дни и ночи, но не любил распространяться о своей работе. Силы природы надо испытывать в тиши. Скоро, скоро найдет он самое лучшее, самое драгоценное – червонное золото.

Вот почему из камина валил дым, вот почему трещало и полыхало в нем пламя. Да, да, без меня тут не обошлось, – рассказывал ветер. «Будет, будет! – гудел я в трубу. – Все развеется дымом, сажай, золой, пеплом. Ты прогоришь! У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше!» Вальдемар До стоял на своем.

Куда же девались великолепные лошади из конюшен? Куда девалась старинная золотая и серебряная утварь из шкафов? Куда девались коровы с полей, все добро и имение? Да, все это можно расплавить! Расплавить в золотом тигле, но золота не получить. Пусто стало в кладовых, в погребах и на чердаках. Убавилось людей, прибавилось мышей. Оконное стекло лопнет здесь, треснет там, и мне уже не надо входить непременно через дверь, – рассказывал ветер. – Где дымится труба, там готовится еда, а тут дымилась такая труба, что пожирала всю еду ради червонного золота.

Я гудел в крепостных воротах, словно сторож трубил в рог, но тут не было больше сторожа, – рассказывал ветер. – Я вертел башенный флюгер, и он скрипел, словно сторож храпел на башне, но сторожа не было и там – были только крысы да мыши. Нищета накрывала на стол, нищета водворилась в платяных шкафах и буфетах, двери срывались с петель, повсюду появились трещины и щели, я свободно входил и выходил, – рассказывал ветер, – оттого-то и знаю, как все было.

От дыма и пепла, от забот и бессонных ночей поседел борода и виски владельца Борребю, пожелтело и избороздилось морщинами лицо, но глаза по-прежнему блестели в ожидании золота, желанного золота.

Я пыхал ему дымом и пеплом в лицо и бороду. Вместо золота явились долги. Я свистел в разбитых окнах и щелях, задувал в сундуки дочерей, где лежали их полинявшие, изношенные платья – носить их приходилось без конца, без перемены. Да, не такую песню пели девушкам над колыбелью! Господское житье стало житьем горемычным. Лишь я один пел там во весь голос! –

рассказывал ветер. – Я засыпал весь замок снегом – говорят, будто под снегом теплее. Взять дров неоткуда было, лес-то ведь вырубил. А мороз так и трещал. Я гулял по всему замку, врывался в слуховые окна и проходы, резвился над крышей и стенами. Высокородные дочери попрятались от холода в постели, отец залез под меховое одеяло. Ни еды, ни дров – вот так господское житье! У-у-уу! Лети дальше! Будет, будет! Но господину До было мало.

«За зиму придет весна, – говорил он. – За нуждой придет достаток. Надо только немножко подождать, подождать. Имение заложено, теперь самое время явиться золоту, и оно явится к празднику».

Я слышал, как он шептал пауку: «Ты, прилежный маленький ткач, ты учишь меня выдержке. Разорвут твою ткань, ты начинаешь с начала и доводишь работу до конца. Разорвут опять – ты опять, не пав духом, принимаешься за дело. С начала, с начала! Так и следует! И в конце концов ты будешь вознагражден».

Но вот и первый день пасхи. Зазвонили колокола, заиграло на небе солнце. Вальдемар До лихорадочно работал всю ночь, кипятил, охлаждал, перемешивал, возгонял. Я слышал, как он вздыхал в отчаянии, слышал, как он молился, слышал, как он задерживал дыхание. Лампа его потухла – он этого не заметил. Я раздувал уголья, они бросали красный отсвет на его бледное как мел лицо с глубоко запавшими глазами. И вдруг глаза его стали расширяться все больше и больше и вот уже, казалось, готовы были выскочить из орбит.

Поглядите в сосуд алхимика! Там что-то мерцает. Горит, как жар, чистое и тяжелое... Он подымает сосуд дрожащей рукою, он с дрожью в голосе восклицает: «Золото! Золото!» У него закружилась голова, я мог бы свалить его одним дуновением, – рассказывал ветер, – но я лишь подул на угли и последовал за ним в комнату, где мерзли его дочери. Его камзол, борода, взлохмаченные волосы были обсыпаны пеплом. Он выпрямился и высоко поднял сокровище, заключенное в хрупком сосуде. «Нашел! Получил! Золото!» – закричал он и протянул им сосуд, искрившийся на солнце, но тут рука его дрогнула, и сосуд упал на пол, разлетелся на тысячу осколков. Последний мыльный

пузырь надежды лопнул... У-у-уу! Лети дальше! И я унесся из замка алхимика.

Поздней осенью, когда дни становятся короче, а туман приходит со своей мокрой тряпкой и выжимает капли на ягоды и голые сучья, я вернулся свежий и бодрый, проветрил и обдул небо от туч и, кстати, пообломал гнилые ветви – работа не ахти какая, но кто-то должен же ее делать. В замке Борребю тоже было чисто, словно выметено, только на другой лад. Недруг Вальдемара До, Ове Рамель из Баснеса, явился с закладной на именье: теперь замок и все имущество принадлежали ему. Я колотил по разбитым окнам, хлопал ветхими дверями, свистел в щели и дыры: «У-у-уу! Пусть не захочется господину Ове остаться тут!» Ида и Анна Дортея заливались горькими слезами; Йоханна стояла гордо выпрямившись, бледная, до крови прикусив палец. Но что толку! Ове Рамель позволил господину До жить в замке до самой смерти, но ему и спасибо за это не сказали. Я все слышал, я видел, как бездомный дворянин гордо вскинул голову и выпрямился. Тут я с такой силой хлестнул по замку и старым липам, что сломал толстенную и несколько не гнилую ветвь. Она упала возле ворот и осталась лежать, словно метла, на случай, если понадобится что-нибудь вымести. И вымели – прежних владельцев.

Тяжелый выдался день, горький час, но они были настроены решительно и негнули спины. Ничего у них не осталось, кроме того, что было на себе, да вновь купленного сосуда, в который собрали с пола остатки сокровища, так много обещавшего, но не давшего ничего. Вальдемар До спрятал его на груди, взял в руки посох, и вот некогда богатый владелец замка вышел со своими тремя дочерьми из Борребю. Я охлаждал своим дуновением его горячие щеки, гладил по бороде и длинным седым волосам и пел, как умел: «У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше!»

Ида и Анна Дортея шли рядом с отцом; Йоханна, выходя из ворот, обернулась. Зачем? Ведь счастье не обернется. Она посмотрела на красные стены, возведенные из камней замка Марека Стига, и вспомнила о его дочерях. И старшая, младшую за руку взяв, Пустилась бродить с ней по свету.

Вспомнила ли Йоханна эту песню? Тут изгнанниц было трое, да

четвертый

– отец. И они поплелись по дороге, по которой, бывало, ездили в карете, поплелись в поле Смидstrup, к жалкой мазанке, снятой ими за десять марок в год, – новое господское поместье, пустые стены, пустая посуда. Вороны и галки летали над ними и насмешливо кричали: «Крах! Крах! Разорение! Крах!» – как кричали птицы в лесу Борребю, когда деревья падали под ударами топоров.

Господин До и его дочери отлично понимали эти крики, хоть я и дул им в уши изо всех сил – стоило ли слушать?

Так вошли они в мазанку, а я понесся над болотами и полями, над голыми кустами и раздетыми лесами, в открытое море, в другие страны. У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше! И так из года в год.

Что же случилось с Вальдемаром До, что случилось с его дочерьми? Ветер рассказывает:

– Последней я видел Анну Дортею, бледный гиацинт, – она была уже сгорбленной старухой, прошло ведь целых пятьдесят лет. Она пережила всех и все знала.

На вересковой пустоши близ города Виборга стоял новый красивый дом священника – красные стены, зубчатый фронтон. Из трубы валил густой дым. Кроткая жена священника и красавицы дочери сидели у окна и смотрели поверх кустов садового терновника на бурю пустошь. Что же они там видели? Они видели гнездо аиста, лепившееся на крыше полуразвалившейся хижины. Вся крыша поросла мхом и диким чесноком, и покрывала-то хижину главным образом не она, а гнездо аиста. И оно одно только и чинилось – его держал в порядке сам аист.

На хижину эту можно было только смотреть, но уж никак не трогать! Даже мне приходилось дуть здесь с опаской! – рассказывал ветер. – Только ради гнезда аиста и оставляли на пустоши такую развалюху, не то давно бы снесли. Семья священника не хотела прогонять аиста, и вот хижина стояла, а в ней жила бедная старуха. Своим приютом она была обязана египетской птице, а может, и наоборот, аист был обязан ей тем, что она вступилась когда-то за гнездо его черного брата, жившего в лесу Борребю. В те времена нищая старуха была нежным

ребенком, бледным гиацинтом высокородного цветника. Анна Дортея помнила все.

«О-ох! – Да, и люди вздыхают, как ветер в тростнике и осоке. – О-ох! Не звонили колокола над твоею могилой, Вальдемар До! Не пели бедные школьники, когда бездомного владельца Борребю опускали в землю!.. Да, всему, всему наступает конец, даже несчастью!.. Сестра Ида вышла замуж за крестьянина. Это-то и нанесло отцу самый жестокий удар... Муж его дочери – жалкий раб, которого господин может посадить на кобылку. Теперь и он, наверно, в земле, и сестра Ида. Да, да! Только мне, бедной, судьба конца не посылает!»

Так говорила Анна Дортея в жалкой хижине, стоявшей лишь благодаря аисту.

Ну, а о самой здоровой и смелой из сестер позаботился я сам! – продолжал ветер. – Она нарядилась в платье, которое было ей больше по вкусу: переделалась парнем и нанялась в матросы на корабль. Скупа была она на слова, сурова на вид, но от дела не отлынивала, вот только лазать не умела. Ну, я и сдул ее в воду, пока не распознали, что она женщина, – и хорошо сделал!

Был первый день пасхи, как и тогда, когда Вальдемару До показалось, что он получил золото, и я услышал под крышей с гнездом аиста пение, последнюю песнь Анны Дортеи.

В хижине не было даже окна, а просто круглое отверстие в стене. словно золотой самородок, взошло солнце и заполнило собой хижину. Что за блеск был! Глаза Анны Дортеи не выдержали, не выдержало и сердце. Впрочем, солнце тут ни при чем; не озари оно ее в то утро, случилось бы то же самое.

По милости аиста у Анны Дортеи был кров над головой до последнего дня ее жизни. Я пел и над ее могилой, и над могилой ее отца, я знаю, где и та и другая, а кроме меня, не знает никто.

Теперь настали новые времена, другие времена! Старая проезжая дорога упирается теперь в огороженное поле, новая проходит по могилам, а скоро промчится тут и паровоз, таща за собой ряд вагонов и грохоча над могилами, такими же забытыми, как и имена. У-у-уу! Лети дальше!

Вот вам и вся история о Вальдемаре До и его дочерях. Расскажи

ее лучше, кто сумеет! – закончил ветер и повернул в другую сторону.

И след его простыл.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Философский камень (Камень мудрецов)

Ты ведь знаешь сказание о Хольгере Датчанине? Мы не собираемся пересказывать его, а просто спрашиваем, помнишь ли ты, что Хольгер Датчанин покорил великую Индию до восточного края света, до самого «солнечного дерева», как рассказывает Кристьерн Педерсен.^[1] Ты ведь знаешь, кто был Кристьерн Педерсен? А и не знаешь – не беда! Хольгер Датчанин вручил власть над страной священнику Йоне. Знаешь ты что-нибудь о священнике Йоне? А и не знаешь – тоже не беда! Он не играет в нашем рассказе никакой роли. Мы расскажем тебе о солнечном дереве, растущем «в Индии, на восточном краю света», как толковали во время оно люди, – они не учились географии, как мы с тобою, но и это ведь не беда!

Солнечное дерево было чудо что за дерево, какого и мы не видывали, и ты никогда не увидишь. Густолиственная вершина его бросала тень на несколько миль кругом; дерево было, в сущности, настоящим лесом, каждая отдельная маленькая ветвь – целым деревом; тут были и пальмы, и буки, и платаны, и пихты; словом, всевозможные породы деревьев, какие только существуют на белом свете, росли в виде побегов на больших ветвях. Большие же ветви, извилистые и суковатые, являлись настоящими

долинами и холмами, устланными мягким, как бархат, зелёным ковром, который пестрел цветами. Каждая ветвь напоминала висящий в воздухе цветущий луг или чудеснейший сад. Солнышко вечно ласкало дерево своими благодатными лучами, – недаром же оно звалось солнечным деревом. К нему слетались птицы со всех концов света: из дальних девственных лесов Америки, из розовых садов Дамаска, даже из лесных пустынь Африки, где львы и слоны мнят себя полновластными хозяевами. Прилетали сюда и полярные птицы, и – само собою – и аисты с ласточками. Но не одни птицы обитали на дереве; олень, белка, антилопа и другие быстроногие, прекрасные животные тоже чувствовали себя здесь как дома. И немудрено: густая, кудрявая вершина дерева была ведь огромным, благоухающим садом. Посреди же этого сада, там, где раскинулись зелёные склоны самых больших ветвей, возвышался хрустальный замок; из окон его открывался вид на все четыре страны света.

Каждая башня замка напоминала лилию, по стебельку которой можно было подняться на самый верх – в стебельке была ведь внутренняя лестница, понимаешь? – и ступить на края отогнутых лепестков, изображавших балконы; в самой же чашечке находилась чудеснейшая, блестящая зала, но потолком здесь служило голубое небо, озарённое солнцем или усеянное звёздами. Хорошо было, хоть и на другой лад, и в нижних залах замка: на стенах отражался весь мир, всё, что происходило на земле, – и газет не надо было; кстати, их в замке и не получали. Всё можно было увидеть и узнать из этих живых картин, лишь бы хватило времени да охоты, но невозможное – невозможно даже для первого мудреца в свете, а в замке как раз и жил такой мудрец. Имя его трудно и произнести; тебе ни за что не выговорить, да и невелика беда. Он знал всё, что только может знать или узнать человек на земле, был посвящён во все открытия прошлого, настоящего и будущего; но дальше этого его знания не простирались – всему есть границы! Сам мудрый царь Соломон был лишь вполовину так умен, как он, а царь Соломон ведь очень умен; он повелевал силами природы и могучими духами; сама смерть обязана была каждое утро присылать ему список людей, которых собиралась похитить днём. И всё-таки царь Соломон должен был умереть –

вот эта-то мысль и не давала покоя мудрецу, могущественному владельцу замка на солнечном дереве. И он, как ни возвышался своею мудростью над всеми людьми, должен был когда-нибудь умереть, и дети его – тоже. Все они должны были увянуть, опасть и превратиться в прах, как древесные листья; он знал это, он видел, как осыпались и превращались в прах поколения людские. На месте опавших листьев вырастали на дереве новые, те же, что опали, никогда не возрождались вновь, а превращались в прах, переходили в другие растительные части; но что же происходило после смерти с людьми? Что такое самая смерть? Тело превращается в прах, а душа? Чем является душа в теле и чем она становится потом? Что её ждет? «Жизнь вечная», – утешает нас религия, но как же свершается переход в эту жизнь? Где живёт душа и как? «На небе, – говорят благочестивые люди. – И мы пойдём туда же!» – «Туда! – повторял мудрец, глядя вверх на голубое небо, на солнце и на звёзды. – Туда!»

Но, бросив с круглого шара Земли испытующий взор в пространство, он нашёл, что и верх и низ тут безразличны, – все зависит от того, с какой точки земного шара смотреть в пространство! А поднявшись на высочайшие горы, он увидел, что самое воздушное пространство, которое кажется нам с земной плоскости таким голубым, прозрачным, это «ясное небо», как мы его называем, есть, в сущности, сплошной густой мрак, тяжело облегающий землю; увидел, что солнце – огромный раскалённый шар, без лучей, а наша земля – шарик, окутанный оранжевым туманом. Да, телесный взор человека везде встречает границы, и за них не в силах проникнуть даже духовный взор его. Как же ничтожны наши знания, если и мудрейший из людей знал о том, что для нас важнее всего, так мало!

В потайной комнате замка хранилось величайшее земное сокровище – «книга Истины». И мудрец читал из неё страницу за страницей. Эту книгу может читать каждый человек, но лишь отрывками: в иных местах буквы так прыгают перед глазами, что нельзя разобрать ни единого слова, а в иных они до того бледны, что глаз видит лишь чистую неисписанную страницу. Чем мудрее человек, тем больше он может прочесть из этой книги, и наш мудрец прочел её почти всю.

Он умел собирать свет звёзд, свет солнца, вызывать скрытый свет сокровенных сил природы и свет ума, и благодаря такому яркому освещению становились видимыми даже самые бледные буквы. Но в конце книги, в главе «Жизнь после смерти», и он не мог прочесть ничего, кроме самого заглавия. Это сильно огорчало мудреца. Неужели ему так и не удастся найти здесь, на земле, такого сильного источника света, который осветил бы содержание этих последних страниц «книги Истины»?

Мудрец, как и царь Соломон, понимал язык животных, умел вслушиваться в речи зверей и пение птиц, но толку от этого было мало. Он умел извлекать из растений и металлов целебные силы, которые могли изгонять болезни, даже отгонять смерть, но победить её совсем не могли. Во всей природе, во всём, что было ему доступно, искал он света, который бы мог озарить для него будущую жизнь, но не находил, и последние страницы «книги Истины» оставались для него белыми страницами. Христианское учение, правда, предлагало ему утешение, обещая вечную жизнь за гробом, но про эту-то жизнь ему и хотелось прочесть не в Библии, а в своей книге, однако там его глаза видели лишь белую страницу.

У мудреца было пятеро детей, четверо сыновей, которым он дал такое воспитание и обучение, какое только может дать своим детям мудрейший из отцов, и дочь, красавица, кроткая, умная, но слепая. Она, впрочем, казалось, и не ощущала этого недостатка: отец и братья заменяли ей глаза, а необыкновенная душевная чуткость – непосредственные зрительные ощущения.

Сыновья никогда не уходили далеко от дома, никогда не переступали черты, за которую уже не падала тень от ветвей солнечного дерева; сестра их и подавно. Хорошо жилось детям в родительском доме, под сенью чудесного, благоухающего солнечного дерева. Как и все дети, они очень любили слушать рассказы, и отец рассказывал им много, чего другие дети и не поняли бы, но эти были так умны, как у нас бывают разве только умудрённые долгою жизнью старцы. Отец объяснял им живые картины, отражавшиеся на стенах замка, объяснял ход земных событий и деяния людей, и сыновья часто выражали желание побывать в свете, чтобы самим окунуться в водоворот жизни, но

отец говорил им, что в свете живётся трудно и горько, что действительность не совсем такова, какую они её себе представляют отсюда, из своего чудесного детского мирка. Он говорил детям о Добре, Истине и Красоте, говорил, что из них-то, под тяжким давлением света, образуется драгоценный камень, светлее бриллианта самой чистой воды; блеск его угоден Богу и затмевает собою решительно всё; этот-то камень, собственно, и есть то, что называют философским камнем. Затем он сказал им, что, как можно дойти до уверенности в существовании Творца, изучая сотворённое, так можно дойти до уверенности в существовании упомянутого камня, изучая людей. Большого о камне он рассказать им не мог – большего он и сам не знал. Другим детям трудно было бы понять всё это, но дети мудреца поняли, а впоследствии поймут, может быть, и другие.

Выслушав отца, они начали расспрашивать его об Истине, Добре и Красоте подробнее, и он рассказал им всё, что знал сам. Между прочим, он сказал им, что Бог, создав человека из земли, подарил его пятью огненными сердечными поцелуями и с каждым поцелуем человек получал одно из своих пяти чувств, как мы их называем. Ими-то мы и познаем Красоту, Истину и Добро, ими Истина, Добро и Красота оцениваются, защищаются и поощряются; каждое из этих пяти чувств подразделяется на внешнее и внутреннее, духовное; одно из них корень, другое верхушка, одно тело, другое душа.

Дети много думали о словах отца, философский камень не выходил у них из головы ни днём ни ночью. Наконец старшему приснился чудный сон, но – вот диво! – то же самое приснилось и второму, и третьему, и четвёртому! Каждому брату снилось, что он отправляется странствовать по белу свету и находит философский камень, который горит у него во лбу ярким пламенем в то время, как он мчится по бархатным лугам к отцовскому саду на своём быстром как ветер коне обратно в отчий дом. И драгоценный камень отбросил на страницы «книги Истины» такой небесный свет, что стали видны и письма в главе «Жизнь после смерти». Сестре же не снилось ничего такого; ей и в голову не приходило пуститься странствовать по свету – весь свет заключался для неё в отцовском доме.

– Я отправлюсь в путь! – сказал старший. – Пора мне узнать, что творится на белом свете, и самому окунуться в море житейское. Я стремлюсь только к Добру и Истине, а благодаря им я стану защитником Красоты! Многое изменится в мире, когда я возьмусь за дело!

Да, замыслы-то у него были отважные и великие, как и у всех нас, пока мы сидим у себя в углу за печкой, не испытав ещё ни дождя, ни непогоды, не изранив себе ног терниями, растущими на пути жизни!

У каждого брата все пять чувств – и внешние и внутренние – были развиты превосходно, но одно всё-таки играло преобладающую роль. У старшего брата таким чувством являлось зрение. Оно-то и должно было сослужить ему главную службу. Он, по его словам, проникал взором во все времена, во все деяния людские, даже в недра земли, где скрываются сокровища, и в сердца людей, словно люди были из прозрачного стекла! Иначе говоря, он видел побольше, чем можем видеть мы, глядя на вспыхивающее румянцем или бледнеющее лицо и всматриваясь в смеющиеся или плачущие глаза. Олень и антилопа проводили старшего брата до западной границы, а там он увидал диких лебедей, летевших к северо-западу, и последовал за ними. Скоро он очутился далеко-далеко от родины, от «восточного края света».

Вот глаза-то у него и разбежались! Было-таки на что посмотреть тут! А видеть что-нибудь в действительности совсем иное, нежели на картинках, хоть бы и на хороших, – те, что были у него дома, в отцовском замке, были ведь необыкновенно хороши. В первую минуту он чуть не ослеп от удивления при виде всего того хлама, что выдавался людьми за прекрасное; но, видно, глаза ему ещё могли пригодиться, – конечно, не для того же они были ему даны! – и он не ослеп.

Придя в себя, он решил основательно и добросовестно приступить к изучению Истины, Добра и Красоты; но что же, собственно, было Истиною, Добром и Красотой? Он увидал, что люди зачастую венчают цветами вместо Красоты уродство, истинного Добра не замечают, награждают посредственность рукоплесканиями, а не свистками, смотрят на имя, а не на достоинство, на платье, а

не на самого человека, на должность, а не на призвание. Да и чего от них требовать?

«Да, надо мне хорошенько взяться за дело!» – подумал он и взялся.

Но пока он доискивался Истины, явился дьявол, отец лжи и сам её воплощение. Он бы с удовольствием выцарапал провидцу оба глаза, но это был бы уж слишком резкий прием, дьявол обыкновенно приступает к делу более тонко. Он оставил провидца отыскивать Истину да разглядывать Добро, но пока тот разглядывал, вдунул ему сучок сперва в один глаз, а затем и в другой, ну а это не послужит в пользу никакому зрению, даже самому острому! Потом дьявол принялся раздувать сучки в бревна, и тогда – прощай зрение! Провидец очутился на торжище жизни слепым и не хотел довериться никому. Теперь он стал иного мнения о свете, отчаялся во всём и во всех, даже в самом себе, а раз человек дошёл до такого отчаяния – он пропал.

– Пропал! – запели дикие лебеди, улетая на восток.

– Пропал! – защебетали ласточки, тоже направлявшиеся к востоку, к солнечному дереву.

Недобрые вести дошли до дому.

– Провидцу, как видно, не повезло! – сказал второй брат. – Авось мне, с моим чутким слухом, посчастливится больше!

У него из всех чувств особенно изощрён был слух, он слышал, как растёт трава, – вот до чего дошёл!

Сердечно распрощавшись с семьёй, отправился применить к делу свои богатые дарования, осуществить свои добрые намерения и второй брат. Ласточки провожали его далеко-далеко, а лебеди указывали путь. Наконец он очутился среди людской толпы.

Вот уж правда говорится, что «хорошенького понемножку». Слух у него был ведь до того богат, что он слышал, как растёт трава, различал биение человеческого сердца в минуты радости от биения его в минуты горя, слышал вообще каждое биение всех сердец, так что свет представился ему огромною мастерскою часовщика, где тикают и бьют часы всех сортов, и маленькие и большие. Сил не было вынести эту стукотню! А он все-таки слушал в оба уха, пока мог, но наконец совсем обезумел от людского шума и гама. Ещё бы! Чего стоили одни уличные

шестидесятилетние мальчишки – годы тут ведь ни при чём, – горланившие во всю мочь! Ну, да это-то ещё было только смешно, но потом на смену простому крику и гаму являлась Сплетня и, шипя, ползла по всем домам, улицам, переулкам и дальше по большой дороге. Наконец, громогласно раздавалась Ложь и верховодила всем, а шутовские бубенчики звенели, как будто были церковными колоколами. Нет, это было уж слишком! Он заткнул себе уши пальцами, но все продолжал слышать фальшивое пение и злые речи. Языки людские не знали удержу, мололи всякий вздор, болтали без умолку о выеденном яйце, так что добрые отношения между людьми трещали по всем швам. Шум и гам, трескотня и стукотня и внутри и снаружи – ужас! Ничьих сил не хватило бы вынести все это! Просто с ума можно было сойти. И второй брат запускал пальцы в уши все глубже и глубже, пока, наконец, не прорвал барабанной перепонки. Теперь уж он стал глух ко всему, даже к Добру, Истине и Красоте. Он присмирел, стал подозрительным, не доверял никому, под конец – даже себе самому, а это большое несчастье. Не ему было отыскать и принести домой драгоценный камень! Он и махнул на свою задачу рукой, махнул рукой на всех и всё, даже на самого себя, а уж хуже этого нет ничего. Птицы, летевшие на восток, принесли о том весть на родину его, в замок солнечного дерева, но письма от него никакого не пришло, да и почта-то в те времена ещё не ходила.

– Теперь я попытаю счастья! – сказал третий брат. – У меня есть нюх!

Не особенно-то изящно он выражался, но таков уж он был, таким надо его и принимать. Он отличался весёлым нравом и был поэтом, настоящим поэтом. Он мог спеть всё, чего не мог высказать. О многом он догадывался куда раньше, чем другие.

– Уж такой у меня нюх! – говорил он, и правда, обоняние было у него развито в высшей степени; это чувство играло, по его мнению, весьма важную роль в царстве прекрасного.

– Одному приятен аромат яблони, другому аромат конюшни! – говорил он. – Каждая область ароматов в царстве прекрасного имеет свою публику. Одни люди чувствуют себя как дома в кабачке, дыша воздухом, пропитанным копотью и чадом сальных

свеч, запахом сивухи и табачным дымом, другие предпочитают одуряющий аромат жасмина или умащают себя крепким гвоздичным маслом, – а это хоть кого прошибёт! Третьи, наконец, ищут свежего морского ветерка, свежего воздуха, взбираются на вершины гор и смотрят оттуда вниз на мелочную людскую сутолоку!

Да, вот как рассуждал он. Казалось, он имел уже случай пожить в свете между людьми и узнать их, а на самом-то деле эти познания были результатом его внутренней мудрости – он был поэтом. Господь одарил его поэтическим чутьём при самом рождении.

И вот он простился с родными и, выйдя за черту отцовских владений, сел на быстроногого страуса, который мчится куда быстрее коня, а потом, увидав стаю диких лебедей, пересел на спину к самому сильному – он любил перемену. Перелетев море, он очутился в чужой стране, где расстилались огромные леса, сверкали глубокие озёра, возвышались высокие горы и роскошные города. И куда он ни являлся – всюду словно восходило солнышко, каждый кустик, каждый цветочек начинал благоухать сильнее, почуяв приближение друга, защитника, который оценит и поймёт аромат их. Даже зачахший, всеми забытый розовый куст расправил ветви, развернул листики, и на нём распустилась чудеснейшая роза. Всякому она бросалась в глаза, даже чёрная, скользкая лесная улитка и та заметила её красоту.

– Я хочу отметить этот цветок! – сказала улитка. – Ну вот, теперь я плюнула на него – большего я уж не могу сделать.

– Вот что бывает на этом свете с прекрасным! – сказал поэт, сложил о том песню и пропел её, как умел, но никто даже и не прислушался.

Тогда он дал барабанщику два скиллинга и павлинье перо и велел ему переложить песню для барабана да пробарабанить её по всему городу, по всем улицам и переулкам. Тогда люди слышали песню и объявили, что поняли её, – в ней, дескать, замечательно глубокий смысл! Теперь поэт мог продолжать слагать и петь свои песни. Он пел об Истине, Добре и Красоте, и его слушали и в кабачках, где чадили сальные свечи, и на свежем воздухе в поле, в лесу и в открытом море. Казалось, что этому брату

повезло больше, чем первым двоим, но дьявол этого не потерпел, живо явился и начал воскурять перед ним фимиам самый крепкий и благовонный, какой только может изготавливать из всех существующих на свете сам дьявол. А уж он мастер добывать такой удушливый фимиам, от которого закружится голова у любого ангела, не то что у бедного поэта. Дьявол знает, чем пронять человека! Поэта он пронял фимиамом: бедняк совсем утонул в волнах его, забыл свою миссию и родину, всё, даже себя самого, – всё поглотил дым фимиама!

Все птички, услышав о том, затосковали и умолкли на целых три дня, а чёрная лесная улитка почернела пуще прежнего – не от горя, а от зависти.

– Ведь это мне, – сказала она, – следовало бы воскурять фимиам – я ведь дала ему идею первой знаменитой песни, которую переложили на барабан! Я плюнула на розу и могу даже представить свидетелей!

А домой, на родину, не дошло даже и весточки о судьбе поэта; птички горевали и не раскрывали рта целых три дня, и скорбь их оказалась такой сильной, что к концу трёхдневного срока её они даже забыли, о чём горевали! Вот как!

– Ну, теперь пора и мне отправиться в путь! – сказал четвёртый брат.

Он тоже был весёлого нрава, как и предыдущий, притом же он не был поэтом, значит, ничто и не мешало ему сохранять свой весёлый нрав. Оба эти брата были душой и весельем всей семьи; теперь из неё уходило и последнее веселье! Зрение и слух вообще считаются у людей главными чувствами; на их развитие обращается особенное внимание, три же остальных чувства считаются менее существенными. Не так думал младший брат; у него особенно развит был вкус – в самом широком смысле этого слова. А вкус и в самом деле играет большую роль: он ведь руководит выбором всего, что поглощается и ртом и умом. И младший брат не только перепробовал все, что вообще подается на сковородках, в горшках, в бутылках и других сосудах, – это была грубая физическая сторона дела, говорил он, – но и на каждого человека смотрел как на горшок, в котором что-нибудь варится, на каждую страну как на огромную кухню, и это

являлось уже тонкою, духовною стороною его миссии. На эту-то сторону он теперь и собирался приналечь.

– Может быть, мне и посчастливится больше братьев! – сказал он. – Итак, я отправлюсь в путь, но какой же способ передвижения избрать мне? Что, воздушные шары изобретены? – спросил он отца – тот ведь знал о всех изобретениях и открытиях прошедшего, настоящего и будущего.

Оказалось, что воздушные шары ещё не были изобретены, так же, как пароходы и паровозы.

– Ну, так я отправлюсь на воздушном шаре! – решил он. – Отец-то ведь знает, как они снаряжаются и управляются, и научит меня! Людям эти шары ещё неизвестны, и, увидя мой, они примут его за воздушное явление! Я же, воспользовавшись им, сожгу его, – отец должен снабдить меня несколькими штучками грядущего изобретения, так называемыми «химическими спичками». Всё это он получил и полетел. Птицы провожали его дальше, нежели старших братьев: им любопытно было поглядеть, что выйдет из его полета. К этим птицам приставали по пути всё новые и новые, – птицы очень любопытны, а шар показался им новою диковинною птицей. И у младшего брата составила такая птичья свита, что хоть убавляй! Птичья стая неслась чёрною тучей, точно египетская саранча; даже света дневного из-за неё не было видно. Наконец шар залетел далеко-далеко.

– У меня хороший друг и помощник – Восточный ветер! – сказал младший брат.

– То есть два – Восточный и Южный! – сказали оба ветра. – Мы попеременно направляли твой шар, а то как бы ты попал на северо-запад!

Но он и не слышал, что они ему говорили, да и не всё ли равно! Птицы больше не сопровождали его: когда их собралось уж очень много, двум-трём из них наскучило лететь.

– Нет, эту вещь слишком раздули! – объявили они. – И он, пожалуй, ещё бог весть что вообразит о себе! Да и незачем лететь за ним! Всё это пустое! Просто неловко даже!

И они отстали; за ними и все другие. Все нашли, что это – пустое.

А шар спустился в одном из самых больших городов, и

воздухоплаватель очутился на высочайшей точке – на башенном шпице. Шар опять поднялся на воздух, хоть это и не предполагалось, куда он улетел – сказать трудно, да и не всё ли равно, раз он не был ещё изобретён?

Итак, младший брат восседал на башенном шпице, но птицы уже не слетались к нему: и он им надоел, и они ему. Все дымовые трубы в городе дымили и благоухали.

– Это всё алтари, воздвигнутые тебе! – сказал ветер – он хотел сказать гостю что-нибудь приятное.

А тот сидел себе преважно и посматривал вниз на улицы и прохожих. Один шёл и чванился своим кошельком, другой – ключом, подвешенным сзади на поясе, хоть ему и нечего было этим ключом отпираться; третий – своим кафтаном, а его уж ела моль; четвёртый – своим телом, а его уж точил червяк!..

– Суета сует! Да, пора мне сойти вниз, помешать в котле жизни да отведать, каково на вкус его содержимое! – сказал он. – Но я ещё посижу тут немножко: ветер так чудесно щекочет мне спину; очень приятно! Я посижу здесь, пока ветер дует с той стороны. Надо же мне отдохнуть немножко. Хорошо подольше понежиться утром в постели, когда предстоит трудный день, говорят ленивцы, а леность – мать пороков, но ведь наша семья не заражена никакими пороками, говорю я, и то же скажет о своей семье любой прохожий! Я посижу тут, только пока ветер дует с той стороны – он мне по вкусу!

И он остался сидеть, но сидел-то он на флюгере шпица, и тот всё вертелся с ним, а он думал, что дует всё тот же ветер; он продолжал сидеть и мог сидеть так без конца!

А в индийской стране, в замке на солнечном дереве, стало так пусто и тихо, когда братья разошлись один за другим.

– Им не повезло! – говорил отец. – Никогда не принесут они домой сверкающего драгоценного камня, никогда я не обрету его! Они ушли, погибли!..

И он склонялся над «книгой Истины», впиваясь взглядом в страницу, на которой хотел прочесть о жизни после смерти, но по-прежнему ничего не видел на ней.

Слепая дочь была его утешением и отрадой; она так искренне была к нему привязана, так любила его, и, ради его счастья,

она горячо желала, чтобы драгоценный камень был найден и принесён домой. Но о братьях она очень горевала: где они и что с ними? Как ей хотелось увидеть их хоть во сне, но, удивительно, даже во сне она не могла с ними свидеться! Но вот однажды ночью ей приснилось, что она слышит их голоса; они зовут её, они кричат ей из пучины житейского моря, и она пускается в путь, уходит далеко-далеко и в то же время всё-таки как будто не выходит из отцовского дома. Братьев она так и не встречает, но в руке чувствует какое-то пламя, которое, однако, не жжет её... В руке у неё сверкающий драгоценный камень, и она приносит его отцу! В первую минуту по пробуждении ей показалось, что она всё ещё держит камень в руке, но оказалось, что рука её крепко сжимала прялку. В долгие бессонные ночи она непрерывно пряла, и на веретене была намотана нить тоньше той, что прядёт паук; человеческим глазом нельзя было и разглядеть её. Но девушка смачивала нить своими слезами, и нить становилась крепче якорного каната. Слепая встала; она решилась, сон должен был сбыться. Была ночь, отец её спал, она поцеловала его руку, прикрепила конец нити к отцовскому дому – иначе как бы она, бедная слепая, нашла дорогу домой? За эту нить она должна была крепко держаться, – ей она доверялась, а не самой себе, не другим людям. Потом она сорвала с солнечного дерева четыре листочка; она хотела, в случае, если сама не встретит братьев, пустить эти листья по ветру, чтобы тот отнёс по одному каждому брату вместо письма-поклона от неё.

Что-то будет с бедняжкой слепой, как станет она пробираться по белу свету? Но она ведь держалась за невидимую путеводную нить и, кроме того, над всеми пятью чувствами преобладала у неё внутренняя, душевная чуткость, благодаря чему она как бы видела кончиками пальцев, слышала сердцем.

И вот она отправилась бродить по белу свету. Море житейское шумело и гудело вокруг неё, но где только ни проходила она – всюду на небе сияло солнышко, ласкавшее её своими тёплыми лучами, всюду из чёрных облаков исходила сияющая радуга, всюду девушка слышала пение птичек, вдыхала аромат апельсиновых и яблоневых садов; аромат был так силён, что ей казалось даже,

будто она вкушает самые плоды. До слуха её доносились нежные ласкающие звуки, дивное пение, но доносились также завывание и дикие крики; мысли и чувства людские вступали между собою в борьбу, и в глубине её сердца сталкивались отзвуки двух мелодий – задушевной сердечной мелодии и мелодии рассудка. Один людской хор пел:

Земная жизнь – борьба и слёзы,
Сплошная тьма, просвета нет!

Другой:

Нет, люди рвут и счастья розы,
Их взор ласкает солнца свет!

Опять доносилась горькая жалоба:

Мир жив лишь злом, враждой, гоненьем,
Брат губит брата, сын – отца!

В ответ звучало:

Любовью, благостью, прощеньем
Людей исполнены сердца!

Потом слышалось:

Мир тонет в мраке лжи, притворства,
Вся жизнь – лишь суета сует!

Но вот раздавалось:

Но с тьмой и ложью в ратоборство
Вступают Истина и Свет!

Тут хор дико грянул:

Махни рукой на всё и смейся,
Людей и мир весь презирай!

Но в сердце слепой девушки звучало:

На Бога и себя надейся,
Ему судьбу свою вверяй!

И стоило девушке появиться в кругу мужчин и женщин, старых и молодых, души всех загорались светом Истины, Добра и Красоты; повсюду, где она ни появлялась – в мастерской ли художника, в богатом ли, празднично убранном покое, на фабрике ли среди жужжащих машин, – всюду словно восходило солнышко, звучали невидимые струны, благоухали цветы, ниспадала на изнывающие от жажды листья живительная роса.

Но дьявол не мог с этим примириться, а он ведь умнее целых десятков тысяч умных людей, вместе взятых, и додумался-таки, чем помочь горю. Он отправился в болото, взял пузырями стоячей воды, велел прозвучать над ними семикратному эху лжи, чтобы они окрепли, потом истолок в порошок всевозможные, оплаченные похвальные оды и лживые надгробные речи, какие только мог достать, сварил порошок вместе с пузырями в слезах, пролитых завистью, посыпал полученную смесь румянцем, соскобленным с увядшей щеки старой девы, и создал из всего этого девушку по образу и подобию богатой благодатью слепой. Люди стали звать создание дьявола «кротким ангелом душевной чуткости», и всё пошло теперь как по маслу, – дьявол одолел: свет не знал, которая из двух была настоящей, да и где ему было знать это!

На Бога и себя надейся,
Ему судьбу свою вверяй! –

раздавалось между тем в сердце слепой, но просветлённой твёрдою верой девушки. Четыре зелёных листка солнечного дерева она отдала ветру, чтобы тот отнёс их вместо письма-поклона её братьям, и твёрдо верила, что ветер доставит листья по назначению. Так же твёрдо верила она и в то, что драгоценный камень, затмевающий блеском всё земное великолепие, будет ею найден. С чела человечества должен он сиять дивным блеском, озаряя и дом её отца.

– Дом моего отца! – повторила она. – Да, на земле обретается этот камень, и я принесу домой не одну уверенность в его существовании; я уже ощущаю его пламя; оно пышет всё сильнее и

сильнее в моей зажатой руке! Я подхватывала ведь каждое крошечное зерно Истины, носившейся по ветру, и крепко берегла его; я давала ему пропитаться ароматом всего прекрасного, чего немало на земле, – даже для слепой. Я ловила каждое биение человеческого сердца во имя Добра и вкладывала их в зернышки Истины. Я несу домой одни песчинки, но все они в совокупности и составят драгоценный камень, который я искала; у меня их полная горсть!

И она протянула руку отцу – она была уже дома; с быстротой мысли очутилась она там: она ведь не выпускала из рук невидимой путеводной нити, связывавшей её с отцовским домом.

Злые духи налетели на солнечное дерево с грохотом урагана, с шумом и свистом ворвались в открытые ворота и в потайную комнату.

– Вихрь развеет песчинки! – вскричал отец, хватая её разжатую руку.

– Нет! – с твёрдой уверенностью возразила она. – Их нельзя развеять. Я чувствую, как от них струится луч света, согревающий мою душу!

И отец увидел, что сверкающие песчинки бросали яркий луч на белую страницу «книги Истины», на ту страницу, где он искал доказательств жизни вечной. Он взглянул на страницу – на ней ослепительным блеском сияли четыре буквы, составлявшие единственное слово:

ВЕРА.

В ту же минуту рядом с отцом очутились и четверо его сыновей. Зелёный листок, брошенный ветром на грудь каждому, пробудил в них тоску по родине, и они вернулись вместе с перелётными птицами, оленями, антилопами и другими лесными обитателями. Животные тоже хотели принять участие в радости, и почему же нет, раз они способны были радоваться?

И вот как солнечный луч, пробравшийся в пыльную комнату через узенькую щёлочку в двери, образует косою столб сияющей пыли, так и тут, но куда легче, воздушней и ярче – сама радуга померкла бы перед этим зрелищем, – подымался от сияющего слова «Вера» светозарный столб песчинок Истины. Каждая песчинка

соединяла в себе свет Истины, блеск Красоты и сияние Добра, отчего столб и светился ярче огненного столба – путеводителя Моисея и народа израильского в пустыне; он был мостом Надежды, перекинутым от Веры к всеобъемлющей, бесконечной Любви.

^[1]Педерсен – Имя выдающегося датского учёного († 1554 г.), издавшего «Kong Olger Danakis Krönike», Malmo, 1534.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Скороходы



Был назначен приз, даже два, один большой, другой маленький, за наибольшую быстроту – не на состязании, а вообще за быстроту в течении целого года.

– Я получил первый приз! – сказал заяц. – Можно, ведь, я думаю, ожидать справедливости, если судьи – твои близкие друзья и родные. Но присудить второй приз улитке?! Мне это даже обидно!

– Но, ведь, надо же принимать во внимание и усердие и добрую волю, как справедливо рассудили высокоуважаемые судьи, и я вполне разделяю их мнение! – заметил заборный столб, бывший свидетелем присуждения призов. – Улитке, правда, понадобилось полгода, чтобы переползти через порог, но всё-таки она очень спешила и даже сломала себе второпях бедренную кость! Она всею душой и телом отдавалась своему делу, да ещё таскала при этом на спине весь свой дом! Такое усердие достойно всякого поощрения, вот она и получила второй приз.

– Могли бы, кажется, и на меня обратить внимание! – сказала ласточка. – Быстрее меня на лету, смею думать, никого нет! И где только я ни побывала! Везде, везде!

– То-то вот и горе ваше! – сказал столб. – Уж больно много вы рыскаете! Вечно рвётесь в чужие края, чуть здесь холодком пахнет. Вы не патриотка! Нечего на вас и обращать внимание!

– А если бы я проспала всю зиму в болоте, тогда на меня обратили бы внимание? – спросила ласточка.

– Принесите удостоверение от самой болотницы, что проспали на родине хоть полгода, и на вас сейчас же обратят внимание!

– Я-то заслуживала первого приза, а не второго! – заметила улитка. – Я, ведь, знаю, что заяц бежит только, когда думает, что за ним гонятся, – из трусости! А я смотрела на движение, как на свою жизненную задачу, и пострадала на службе! Да, уж если кому следовало присудить первый приз, так это мне! Но я не охотница кричать о себе! Презираю всё подобное!

И она плюнула.

– Я могу засвидетельствовать, что каждый приз – по крайней мере, с моей стороны – был присужден справедливо! – заявила межевая веха, одна из судей. – Я, вообще, держусь порядка, меры, расчета. Я уже восьмой раз имею честь участвовать в присуждении призов, но только на этот раз поставила на своём. Дело в том, что я всегда присуждаю призы по алфавиту: для первого приза беру букву с начала, для второго – с конца. Потрудитесь теперь обратить внимание на мой счёт: восьмая буква с начала – з, я и подала голос за зайца, а шестнадцатая, т. е. дважды восьмая, с конца у^[1], и вот, я присудила второй

приз улитке. В следующий раз первый приз назначу букве И, а второй – букве С. Главное дело всегда и во всём порядок! Иначе не на что и опереться.

– Не будь я сам в числе судей, я бы подал голос за себя! – сказал осёл. – Надо обращать внимание не на одну быстроту, но и на другие качества, например, на груз. На этот раз я, впрочем, не хотел упирать на это обстоятельство, равно и на ум зайца или на ловкость, с какою он путает свои следы, спасаясь от погони. Нет, есть ещё одно обстоятельство, на которое вообще принято обращать внимание и которое никоим образом нельзя упускать из виду – красота. Я взглянул на прелестные, замечательно развитые уши зайца, – а на них, право, залюбуешься – и мне показалось, что я вижу самого себя, в детском возрасте! Я и подал голос за зайца!

– Дзз! – зажужжала муха. – Я не собираюсь держать речь, я хочу только сказать несколько слов. Я-то уж попроворнее всякого зайца, – это я хорошо знаю! Недавно я даже раздробила одному зайчишке заднюю ногу! Я сидела на паровозе, – я это часто делаю: таким образом лучше всего следить за собственной быстротой. Заяц долго бежал впереди поезда: он и не подозревал моего присутствия! Наконец, ему пришлось свернуть в сторону; тут-то паровоз и перерезал ему заднюю ногу, – я, ведь, сидела на нём. Заяц остался на месте, а я помчалась дальше. Кто же победил? Полагаю – я! Но я не нуждаюсь в призе!

«А по-моему», подумала дикая роза, – вслух она ничего не сказала: это было не в её характере, хотя и лучше было бы, если бы она высказалась – «по-моему, и первого и второго приза заслуживал солнечный луч! Он в одно мгновение пробегает бесконечное пространство, отделяющее землю от солнца, и пробуждает от сна всю природу. Поцелуи его дарят красоту, – мы, розы, алеем и благоухаем от них! А высокие судьи, кажется, совсем и не заметили его! Будь я лучом, я бы отплатила им солнечным ударом... нет, это бы отняло у них последний ум, а они и без того им не богаты! Лучше промолчу! В лесу мир и тишина! Как хорошо цвести, благоухать, упиваться светом и росой, и жить в сказаниях и песнях! Но солнечный луч переживёт нас всех!»

– А какой первый приз? – спросил дождевой червяк; он проспал событие и сейчас только явился на сборный пункт.

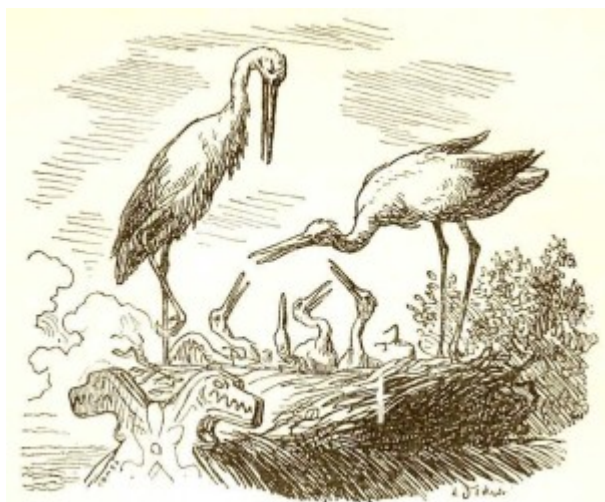
– Свободный вход в огород с капустой! – ответил осёл. – Я сам назначал призы! Первый приз должен был получить заяц – я, как мыслящий и деятельный член комиссии, и обратил надлежащее внимание на потребности и нужды зайца. Теперь он обеспечен. А улитке мы предоставили право сидеть на придорожном камне и греться на солнышке, да лизать мох. Кроме того, она избрана в главные члены нашей комиссии – как это принято называть у людей. Комиссии, ведь, вообще нуждаются в специалистах! И скажу прямо: судя по такому прекрасному началу, можно ожидать от нашей комиссии многого!

^[1]Вследствие несоответствия русского и датского алфавитов здесь пришлось несколько отступить от подлинника.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

**Сказки Ханса Кристиана
Андерсена. Дочь Болотного
Царя**



Много сказок рассказывают аисты своим птенцам – все про болота да про трясины. Сказки, конечно, принаравливаются к возрасту и понятиям птенцов. Малышам довольно сказать «крибле, крабле, плурремурре», – для них и это куда как забавно; но птенцы постарше требуют от сказки кое-чего побольше, по крайней мере того, чтобы в ней упоминалось об их собственной семье. Одну из самых длинных и старых сказок, известных у аистов, знаем и мы все. В ней рассказывается о Моисее, которого мать пустила в корзинке по волнам Нила, а дочь фараона нашла и воспитала. Впоследствии он стал великим человеком, но где похоронен – никому неизвестно. Так оно, впрочем, сплошь да рядом бывает. Другой сказки никто не знает, может быть, именно потому, что она родилась у нас, здесь. Вот уже с тысячу лет, как она переходит из уст в уста, от одной аистихи – мамы к другой, и каждая аистиха рассказывает ее все лучше и лучше, а мы теперь расскажем лучше их всех!

Первая пара аистов, пустившая эту сказку в ход и сама принимавшая участие в описываемых в ней событиях, всегда проводила лето на даче в Дании, близ Дикого болота, в Венсюсселе, то есть в округе Иеринг, на севере Ютландии – если уж говорить точно. Гнездо аистов находилось на крыше бревенчатого дома викинга. В той местности и до сих пор еще есть огромное болото; о нем можно даже прочесть в официальном описании округа.

Местность эта – говорится в нем – была некогда морским дном, но потом дно поднялось; теперь это несколько квадратных миль

топких лугов, трясин и торфяных болот, поросших морошкой да жалким кустарником и деревьями.

Над всей местностью почти постоянно клубится густой туман. Лет семь – десять тому назад тут еще водились волки – Дикое болото вполне заслуживало свое прозвище! Представьте же себе, что было тут тысячу лет тому назад! Конечно, и в те времена многое выглядело так же, как и теперь: зеленый тростник с темно-лиловыми султанчиками был таким же высоким, кора на березках так же белела, а мелкие их листочки так же трепетали; что же до живности, встречавшейся здесь, так мухи и тогда щеголяли в прозрачных платьях того же фасона, любимыми цветами аистов были, как и теперь, белый с черным, чулки они носили такие же красные, только у людей в те времена моды были другие. Но каждый человек, кто бы он ни был, раб или охотник, мог проваливаться в трясины и тысячу лет тому назад, так же как теперь: ведь стоит только ступить на зыбкую почву ногой – и конец, живо очутишься во владениях болотного царя! Его можно было бы назвать и трясиным царем, но болотный царь звучит как-то лучше. К тому же и аисты его так величали. О правлении болотного царя мало что и кому известно, да оно и лучше, пожалуй.

Недалеко от болота, над самым Лим-фиордом, возвышался бревенчатый замок викинга, в три этажа, с башнями и каменными подвалами. На крыше его свили себе гнездо аисты. Аистиха сидела на яйцах в полной уверенности, что сидит не напрасно! Раз вечером сам аист где-то замешкался и вернулся в гнездо совсем взъерошенный и взволнованный.

– Что я расскажу тебе! Один ужас! – сказал он аистихе.

– Ах, перестань, пожалуйста! – ответила она. – Не забывай, что я сижу на яйцах и могу испугаться, а это отразится на них!

– Нет, ты послушай! Она таки явилась сюда, дочка-то нашего египетского хозяина! Не побоялась такого путешествия! А теперь и поминай ее как звали!

– Что? Принцесса, египетская принцесса? Да они ведь из рода фей! Ну, говори же! Ты знаешь, как вредно заставлять меня ждать, когда я сижу на яйцах!

– Видишь, она, значит, поверила докторам, которые сказали, что

болотный цветок исцелит ее больного отца, – помнишь, ты сама рассказывала мне? – и прилетела сюда, в одежде из перьев, вместе с двумя другими принцессами. Эти каждый год прилетают на север купаться, чтобы помолодеть! Ну, прилететь-то она прилетела, да и тю-тю!

– Ах, как ты тянешь! – сказала аистиха. – Ведь яйца могут остыть! Мне вредно так волноваться!

– Я видел все собственными глазами! – продолжал аист. – Сегодня вечером хожу это я в тростнике, где трясина понадежнее, смотрю – летят три лебедки. Но видна птица по полету! Я сейчас же сказал себе: гляди в оба, это не настоящие лебедки, они только нарядились в перья! Ты ведь такая же чуткая, мать! Тоже сразу видишь, в чем дело!

– Это верно! – сказала аистиха. – Ну, рассказывай же про принцессу, мне уж надоели твои перья!

– Посреди болота, ты знаешь, есть что-то вроде небольшого озера. Приподымись чуточку, и ты отсюда увидишь краешек его! Там-то, на поросшей тростником трясине, лежал большой ольховый пень. Лебедки уселись на него, захлопали крыльями и огляделись кругом; потом одна из них сбросила с себя лебединые перья, и я узнал нашу египетскую принцессу. Платья на ней никакого не было, но длинные черные волосы одели ее, как плащом. Я слышал, как она просила подруг присмотреть за ее перьями, пока она не вынырнет с цветком, который померещился ей под водой. Те пообещали, схватили ее оперение в клювы и взвились с ним в воздух. «Эге! Куда же это они?» – подумал я. Должно быть, и она спросила их о том же. Ответ был яснее ясного. Они взвились в воздух и крикнули ей сверху: «Ныряй, ныряй! Не летать тебе больше лебедкой! Не видать родины! Сиди в болоте!» – и расщипали перья в клочки! Пушинки так и запорхали в воздухе, словно снежинки, а скверных принцесс и след простыл!

– Какой ужас! – сказала аистиха. – Сил нет слушать!.. Ну, а что же дальше-то?

– Принцесса принялась плакать и убиваться! Слезы так и бежали ручьями на ольховый пень, и вдруг он зашевелился! Это был сам болотный царь – тот, что живет в трясине. Я видел, как пень повернулся, глядь – уж это не пень! Он протянул свои длинные,

покрытые тиной ветви-руки к принцессе. Бедняжка перепугалась, спрыгнула и пустилась бежать по трясине. Да где! Мне не сделать по ней двух шагов, не то что ей! Она сейчас же провалилась вниз, а за ней и болотный царь. Он-то и втянул ее туда! Только пузыри пошли по воде, и – все! Теперь принцесса похоронена в болоте. Не вернуться ей с цветком на родину. Ах, ты бы не вынесла такого зрелища, женушка!

– Тебе бы и не следовало рассказывать мне такие истории! Ведь это может повлиять на яйца!.. А принцесса выпутается из беды! Ее-то уж выручат! Вот случись что-нибудь такое со мной, с тобой или с кем-нибудь из наших, тогда бы – пиши пропало!

– Я все-таки буду настороже! – сказал аист и так и сделал.

Прошло много времени.

Вдруг в один прекрасный день аист увидел, что со дна болота тянется кверху длинный зеленый стебелек; потом на поверхности воды оказался листочек; он рос, становился все шире и шире. Затем выглянул из воды бутон, и, когда аист пролетел над болотом, он под лучами солнца распустился, и аист увидел в чашечке цветка крошечную девочку, словно сейчас только вынутую из ванночки. Девочка была так похожа на египетскую принцессу, что аист сначала подумал, будто это принцесса, которая опять стала маленькою, но, рассудив хорошенько, решил, что, вернее, это дочка египетской принцессы и болотного царя. Вот почему она и лежит в кувшинке.

«Нельзя же ей тут оставаться! – подумал аист. – А в нашем гнезде нас и без того много! Постой, придумал! У жены викинга нет детей, а она часто говорила, что ей хочется иметь малютку... Меня все равно обвиняют, что я приношу в дом ребятишек, так вот я и взаправду притащу эту девочку жене викинга, то-то обрадуется!»

И аист взял малютку, полетел к дому викинга, проткнул в оконном пузыре клювом отверстие, положил ребенка возле жены викинга, а потом вернулся в гнездо и рассказал обо всем жене. Птенцы тоже слушали – они уже подросли.

– Вот видишь, принцесса-то не умерла – прислала сюда свою дочку, а я ее пристроил! – закончил свой рассказ аист.

– А что я твердила тебе с первого же раза? – отвечала аистиха.

– Теперь, пожалуй, подумай и о своих детях! Отлет-то ведь на носу! У меня даже под крыльями чесаться начинает. Кукушки и соловьи уже улетели, а перепелки поговаривают, что скоро начнет дуть попутный ветер. Птенцы наши постоят за себя на маневрах, уж я-то их знаю!

И обрадовалась же супруга викинга, найдя утром у своей груди крошечную прелестную девочку! Она принялась целовать и ласкать малютку, но та стала кричать и отбиваться ручонками и ножонками; ласки, видимо, были ей не по вкусу. Наплакавшись и накричавшись, она наконец уснула, и тогда нельзя было не залюбоваться прелестным ребенком! Жена викинга не помнила себя от радости; на душе у нее стало так легко и весело, – ей пришло на ум, что и супруг ее с дружиной явится также неожиданно, как малютка! И вот она поставила на ноги весь дом, чтобы успеть подготовиться к приему желанных гостей. По стенам развешали ковры собственной ее работы и работы ее служанок, затканые изображениями тогдашних богов Одина, Тора и Фрейи. Рабы чистили старые щиты и тоже украшали ими стены; по скамьям были разложены мягкие подушки, а на очаг, находившийся посреди главного покоя, навалили груды сухих поленьев, чтобы сейчас же можно было развести огонь. Под вечер жена викинга так устала от всех этих хлопот, что уснула как убитая.

Проснувшись рано утром, еще до восхода солнца, она страшно перепугалась: девочка ее исчезла! Она вскочила, засветила лучину и осмотрелась: в ногах постели лежала не малютка, а большая отвратительная жаба. Жена викинга в порыве отвращения схватила тяжелый железный дверной болт и хотела убить жабу, но та устремила на нее такой странный, скорбный взгляд, что она не решилась ее ударить. Еще раз осмотрелась она кругом; жаба испустила тихий стон; тогда жена викинга отскочила от постели к отверстию, заменявшему окно, и распахнула деревянную ставню. В эту минуту как раз взошло солнце; лучи его упали на постель и на жабу... В то же мгновение широкий рот чудовища сузился, стал маленьким, хорошеньким ротиком, все тело вытянулось и преобразилось – перед женой викинга очутилась ее красавица дочка, жабы же как не бывало.

– Что это? – сказала жена викинга. – Не злой ли сон приснился

мне? Ведь тут лежит мое собственное дитя, мой эльф! – и она прижала девочку к сердцу, осыпая поцелуями, но та кусалась и вырывалась, как дикий котенок.

Не в этот день и не на другой вернулся сам викинг, хотя и был уже на пути домой. Задержал его встречный ветер, который теперь помогал аистам, а им надо было лететь на юг. Да, ветер, попутный одному, может быть противным другому!

Прошло несколько дней, и жена викинга поняла, что над ребенком тяготели злые чары. Днем девочка была прелестна, как эльф, но отличалась злым, необузданным нравом, а ночью становилась отвратительной жабой, но с кротким и грустным взглядом. В девочке как бы соединялись две натуры: днем, ребенок, подкинутый жене викинга аистом, наружностью был весь в мать, египетскую принцессу, а характером в отца; ночью же, наоборот, внешностью был похож на последнего, а в глазах светились душа и сердце матери. Кто мог снять с ребенка злые чары? Жена викинга и горевала и боялась, и все-таки привязывалась к бедному созданию все больше и больше. Она решила ничего не говорить о колдовстве мужу: тот, по тогдашнему обычаю, велел бы выбросить бедного ребенка на проезжую дорогу – пусть берет кто хочет. А жене викинга жаль было девочку, и она хотела устроить так, чтобы супруг ее видел ребенка только днем.

Однажды утром над замком викинга раздалось шумное хлопанье крыльев, – на крыше отдыхали ночью, после дневных маневров, сотни пар аистов, а теперь все они взлетели на воздух, чтобы пуститься в дальний путь.

– Все мужья готовы! – прокричали они. – Жены с детьми тоже!

– Как нам легко! – говорили молодые аисты. – Так и щекочет у нас внутри, будто нас набили живыми лягушками! Мы отправляемся за границу! Вот счастье-то!

– Держитесь стаей! – говорили им отцы и матери. – Да не болтайте так много – вредно для груди!

И все полетели.

В ту же минуту над степью прокатился звук рога: викинг с дружиной пристал к берегу. Они вернулись с богатою добычей от берегов Галлии, где, как и в Британии, народ в ужасе молился: «Боже, храни нас от диких норманнов!»

Вот пошло веселье в замке викинга! В большой покой вкатили целую бочку меда; запылал костер, закололи лошадей, готовился пир на весь мир. Главный жрец окропил теплою лошадиною кровью всех рабов. Сухие дрова затрещали, дым столбом повалил к потолку, с балок сыпалась на пирующих мелкая сажа, но к этому им было не привыкать стать. Гостей богато одарили; раздоры, вероломство – все было забыто; мед лился рекою; подвыпившие гости швыряли друг в друга обглоданными костями в знак хорошего расположения духа. Скальд, нечто вроде нашего певца и музыканта, но в то же время и воин, который сам участвовал в походе и потому знал, о чем поет, пропел песню об одержанных ими в битвах славных победах. Каждый стих сопровождался припевом: «Имущество, родные, друзья, сам человек – все минет, все умрет; не умирает одно славное имя!» Тут все принимались бить в щиты и стучать ножами или обглоданными костями по столу; стон стоял в воздухе. Жена викинга сидела на почетном месте, разодетая, в шелковом платье; на руках ее красовались золотые запястья, на шее – крупные янтари. Скальд не забывал прославить и ее, воспел и сокровище, которое она только что подарила своему супругу. Последний был в восторге от прелестного ребенка; он видел девочку только днем во всей ее красе. Дикость ее нрава тоже была ему по душе. Из нее выйдет, сказал он, смелая воительница, которая сумеет постоять за себя. Она и глазом не моргнет, если опытная рука одним взмахом острого меча сбреет у нее в шутку густую бровь!

Бочка с медом опустела, вкатили новую, – в те времена люди умели пить! Правда, и тогда уже была известна поговорка: «Скотина знает, когда ей пора оставить пастбище и вернуться домой, а неразумный человек не знает своей меры!» Знать-то каждый знал, но ведь знать – одно, а применять знание к делу – другое. Знали все и другую поговорку: «И дорогой гость надоест, если засидится не в меру», и все-таки сидели себе да сидели: мясо да мед – славные вещи! Веселье так и кипело! Ночью рабы, растянувшись на теплой золе, раскапывали жирную сажу и облизывали пальцы. То-то хорошее было времечко!

В этом же году викинг еще раз отправился в поход, хотя и начались уже осенние бури. Но он собирался нагрять с

дружиной на берега Британии, а туда ведь было рукой подать: «Только через море махнуть», – сказал он. Супруга его опять осталась дома одна с малюткою, и скоро безобразная жаба с кроткими глазами, испускавшая такие глубокие вздохи, стала ей почти милее дикой красавицы, отвечавшей на ласки царапинами и укусами.

Седой осенний туман, «беззубый дед», как его называют, все-таки обгладывающий листву, окутал лес и степь. Бесперые птички-снежинки густо запорхали в воздухе; зима глядела во двор. Воробьи завладели гнездами аистов и судили да рядили о бывших владельцах. А где же были сами владельцы, где был наш аист со своей аистихой и птенцами?

Аисты были в Египте, где в это время солнышко светило и грело, как у нас летом. Тамаринды и акации стояли все в цвету; на куполах храмов сверкали полумесяцы; стройные минареты были облеплены аистами, отдохавшими после длинного перелета. Гнезда их лепились одно возле другого на величественных колоннах и полуразрушившихся арках заброшенных храмов. Финиковые пальмы высоко подымали свои верхушки, похожие на зонтики. Темными силуэтами рисовались сероватые пирамиды в прозрачном голубом воздухе пустыни, где щеголяли быстротою своих ног страусы, а лев посматривал большими умными глазами на мраморного сфинкса, наполовину погребенного в песке. Нил снова вошел в берега, которые так и кишели лягушками, а уж приятнее этого зрелища для аистов и быть не могло. Молодые аисты даже глазам своим верить не хотели – уж больно хорошо было!

– Да, вот как тут хорошо, и всегда так бывает! – сказала аистиха, и у молодых аистов даже в брюшке защекотало.

– А больше мы уж ничего тут не увидим? – спрашивали они. – Мы разве не отправимся туда, вглубь, в самую глубь страны?

– Там нечего смотреть! – отвечала аистиха. – За этими благословенными берегами – лишь дремучий лес, где деревья растут чуть не друг на друге и опутаны ползучими растениями. Одни толстоногие слоны могут пролагать там себе дорогу. Змеи же там чересчур велики, а ящерицы – прытки. Если же вздумаете пробраться в пустыню, вам засыплет глаза песком, и это еще будет хорошо, а то прямо попадете в песочный вихрь! Нет, здесь

куда лучше! Тут и лягушек и саранчи вдоволь! Я останусь тут, и вы со мною!

Они и остались. Родители сидели в гнездах на стройных минаретах, отдыхали, охорашивались, разглаживали себе перья и обтирали клювы о красные чулки. Покончив со своим туалетом, они вытягивали шеи, величественно раскланивались и гордо подымали голову с высоким лбом, покрытую тонкими гляцевитыми перьями; умные карие глаза их так и сверкали. Молоденькие барышни-аистихи степенно прохаживались в сочном тростнике, поглядывали на молодых аистов, знакомились и чуть не на каждом шагу глотали по лягушке, а иногда забирали в клюв змейку и ходили да помахивали ею, – это очень к ним шло, думали они, а уж вкусно-то как было!.. Молодые аисты заводили ссоры и раздоры, били друг друга крыльями, щипали клювами – даже до крови! Потом, глядишь, то тот, то другой из них становился женихом, а барышни одна за другою – невестами; все они для этого только ведь и жили. Молодые парочки принимались вить себе гнезда, и тут опять не обходилось без ссор и драк – в жарких странах все становятся такими горячими, – ну, а вообще-то жизнь текла очень приятно, и старики жили да радовались на молодых: молодежи все к лицу! Изю дня в день светило солнышко, в еде недостатка не было, – ешь не хочу, живи да радуйся, вот и вся забота.

Но в роскошном дворце египетского хозяина, как звали его аисты, радостного было мало.

Могущественный владыка лежал в огромном покое с расписными стенами, похожими на лепестки тюльпана; руки, ноги его не слушались, он высох, как мумия. Родственники и слуги окружали его ложе. Мертвым его еще назвать было нельзя, но и живым тоже. Надежда на исцеление с помощью болотного цветка, за которым полетела на далекий север та, что любили его больше всех, была теперь потеряна. Не дожидаться владыке своей юной красавицы дочери! «Она погибла!» – сказали две вернувшиеся на родину принцессы – лебедки. Они даже сочинили о гибели своей подруги целую историю.

– Мы все три летели по воздуху, как вдруг заметил нас охотник и пустил стрелу. Она попала в нашу подружку, и бедная

медленно, с прощальной лебединой песнью, опустилась на воды лесного озера. Там, на берегу, под душистой плакучей березой, мы и схоронили ее. Но мы отомстили за ее смерть: привязали к хвостам ласточек, живущих под крышей избушки охотника, пучки зажженной соломы, – избушка сгорела, а с нею и сам хозяин ее. Зарево пожара осветило противоположный берег озера, где росла плакучая березка, под которой покоилась в земле наша подруга. Да, не видать ей больше родимой земли!

И обе заплакали. Аист, услышав их речи, защелкал от гнева клювом.

– Ложь, обман! – закричал он. – Ох, так бы и вонзил им в грудь свой клюв!

– Да и сломал бы его! – заметила аистиха. – Хорош бы ты был тогда! Думай-ка лучше о себе самом да о своем семействе, а все остальное побоку!

– Я все-таки хочу завтра усесться на краю открытого купола того покоя, где соберутся все ученые и мудрецы совещаться о больном. Может быть, они и доберутся до истины!

Ученые и мудрецы собрались и завели длинные разговоры, из которых аист не понял ни слова; да не много толку вышло из них и для самого больного, не говоря уже о его дочери. Но послушать речи ученых нам все же не мешает, – мало ли что приходится слушать!

Вернее, впрочем, будет послушать и узнать кое-что из предыдущего, тогда мы поближе познакомимся со всею историей; во всяком случае, узнаем из нее не меньше аиста.

«Любовь – родоначальница жизни! Высшая любовь рождает и высшую жизнь! Лишь благодаря любви, может больной возродиться к жизни!» Вот что изрекли мудрецы, когда дело шло об исцелении больного владыки; изречение было необыкновенно мудро и хорошо изложено – по уверению самих мудрецов.

– Мысль не дурна! – сказал тогда же аист аистихе.

– А я что-то не возьму ее в толк! – ответила та. – И, уж конечно, это не моя вина, а ее! А, впрочем, меня все это мало касается; у меня есть о чем подумать и без того!

Потом ученые принялись толковать о различных видах любви: любовь влюбленных отличается ведь от любви, которую чувствуют

друг к другу родители и дети, или от любви растения к свету – например, солнечный луч целует тину, и из нее выходит росток. Речи их отличались такою глубиной и ученостью, что аист был не в силах даже следить за ними, не то чтобы пересказать их аистихе. Он совсем призадумался, прикрыл глаза и простоял так на одной ноге весь день. Ученость была ему не по плечу.

Зато аист отлично понял, что болезнь владыки была для всей страны и народа большим несчастьем, а исцеление его, напротив, было бы огромным счастьем, – об этом толковал весь народ, все – и бедные и богатые. «Но где же растет целебный цветок?» – спрашивали все друг у друга, рылись в ученых рукописях, старались прочесть о том по звездам, спрашивали у всех четырех ветров – словом, добивались нужных сведений всевозможными путями, но все напрасно. Тут-то ученые мудрецы, как сказано, и изрекли: «Любовь – родоначальница жизни; она же возродит к жизни и владыку!» В этом был глубокий смысл, и хоть сами они его до конца не понимали, но все-таки повторили его еще раз и даже написали вместо рецепта: «Любовь – родоначальница жизни!» Но как же приготовить по этому рецепту лекарство? Да, вот тут-то все и стали в тупик. В конце концов все единогласно решили, что помощи должно ожидать от молодой принцессы, так горячо, так искренно любившей отца. Затем додумались и до того, как следовало поступить принцессе. И вот ровно год тому назад, ночью, когда серп новорожденной луны уже скрылся, принцесса отправилась в пустыню к мраморному сфинксу, отгребла песок от двери, что находилась в цоколе, и прошла по длинному коридору внутрь одной из больших пирамид, где покоилась мумия древнего фараона, – принцесса должна была склониться головой на грудь умершего и ждать откровения.

Она исполнила все в точности, и ей было открыто во сне, что она должна лететь на север, в Данию, к глубокому болоту – место было обозначено точно – и сорвать там лотос, который коснется ее груди, когда она нырнет в глубину. Цветок этот вернет жизнь ее отцу. Вот почему принцесса и полетела в лебедином оперении на Дикое болото.

Все это аист с аистихой давно знали, а теперь знаем и мы получше, чем раньше. Знаем мы также, что болотный царь увлек

бедную принцессу на дно трясины и что дома ее уже считали погибшею навеки. Но мудрейший из мудрецов сказал то же, что и аистиха: «Она выпутается из беды!» Ну, и решили ждать, – иного ведь ничего и не оставалось.

– Право, я стащу лебединые оперения у этих мошенниц, – сказал аист. – Тогда небось не прилетят больше на болото да не выкинут еще какой-нибудь штуки! Перья же их я припрячу там на всякий случай!

– Где это там? – спросила аистиха.

– В нашем гнезде, близ болота! – ответил аист. – Наши птенцы могут помочь мне перенести их; если же чересчур тяжело, то ведь по дороге найдутся места, где их можно припрятать до следующего перелета в Данию. Принцессе хватило бы и одного оперения, но два все-таки лучше: на севере не худо иметь в запасе лишнюю одежду.

– Тебе и спасибо-то за все это не скажут! – заметила аистиха.

– Но ты ведь глава семьи! Я имею голос, лишь когда сижу на яйцах!

Девочка, которую приютили в замке викинга близ Дикого болота, куда каждую весну прилетали аисты, получила имя Хельги, но это имя было слишком нежным для нее. В прекрасном теле обитала жестокая душа. Месяцы шли за месяцами, годы за годами, аисты ежегодно совершали те же перелеты: осенью к берегам Нила, весной к Дикому болоту, а девочка все подрастала; не успели опомниться, как она стала шестнадцатилетнею красавицей. Прекрасна была оболочка, но жестко само ядро. Хельга поражала своею дикостью и необузданностью даже в те суровые, мрачные времена. Она тешилась, купая руки в теплой, дымящейся крови только что зарезанной жертвенной лошади, перекусывала в порыве дикого нетерпения горло черному петуху, приготовленному в жертву богам, а своему приемному отцу сказала однажды совершенно серьезно:

– Приди ночью твой враг, поднимись по веревке на крышу твоего дома, сними самую крышу над твоим покоем, я бы не разбудила тебя, если бы даже могла! Я бы не слышала ничего – так звенит еще в моих ушах пощечина, которую ты дал мне много лет тому назад! Я не забыла ее!

Но викинг не поверил, что она говорит серьезно; он, как и все, был очарован ее красотой и не знал ничего о двойственности ее души и внешней оболочки. Без седла скакала Хельга, словно приросшая, на диком коне, мчавшемся во весь опор, и не соскакивала на землю, даже если конь начинал грызться с дикими лошадьми. Не раздеваясь, бросалась она с обрыва в быстрый фиорд и плыла навстречу ладье викинга, направлявшейся к берегу.

Из своих густых, чудных волос она вырезала самую длинную прядь и сплела из нее тетиву для лука.

– Все надо делать самой! Лучше выйдет! – говорила она.

Годы и привычка закалили душу и волю жены викинга, и все же в сравнении с дочерью она была просто робкою, слабою женщиной. Но она-то знала, что виной всему были злые чары, тяготевшие над ужасною девушкой. Хельга часто доставляла себе злое удовольствие помучить мать: увидав, что та вышла на крыльцо или на двор, она садилась на самый край колодца и сидела там, болтая руками и ногами, потом вдруг бросалась в узкую, глубокую яму, ныряла с головой, опять выплывала, и опять ныряла, точно лягушка, затем с ловкостью кошки выкарабкивалась наверх и являлась в главный покой замка вся мокрая; потоки воды бежали с ее волос и платья на пол, смывая и унося устилавшие его зеленые листья.

Одно только немного сдерживало Хельгу – наступление сумерек. Под вечер она утихала, словно задумывалась, и даже слушалась матери, к которой влекло ее какое-то инстинктивное чувство. Солнце заходило, и превращение совершалось: Хельга становилась тихой, грустною жабою и, съезжившись, сидела в уголке. Тело ее было куда больше, чем у обыкновенной жабы, и тем ужаснее на вид. Она напоминала уродливого тролля с головой жабы и плавательною перепонкой между пальцами. В глазах светилась кроткая грусть, из груди вылетали жалобные звуки, похожие на всхлипывание ребенка во сне. В это время жена викинга могла брать ее к себе на колени, и невольно забывала все ее уродство, глядя в эти печальные глаза.

– Право, я готова желать, чтобы ты всегда оставалась моею немой дочкой-жабой! – нередко говорила она. – Ты куда

страшнее, когда красота возвращается к тебе, а душа мрачнеет! И она чертила руны, разрушающие чары и исцеляющие недуги, и перебрасывала их через голову несчастной, но толку не было.

– Кто бы поверил, что она умещалась когда-то в чашечке кувшинки! – сказал аист. – Теперь она совсем взрослая, и лицом – вылитая мать, египетская принцесса. А ты мы так и не видали больше! Не удалось ей, видно, выпутаться из беды, как вы с мудрецом предсказывали. Я из года в год то и дело летаю над болотом вдоль и поперек, но она до сих пор не подала ни малейшего признака жизни! Да уж поверь мне! Все эти годы я ведь прилетал сюда раньше тебя, чтобы починить наше гнездо, поправить кое-что, и целые ночи напролет – словно я филин или летучая мышь – летал над болотом, да все без толку! И два лебединых оперения, что мы с таким трудом в три перелета перетащили сюда, негодились! Вот уж сколько лет они лежат без пользы в нашем гнезде. Случись пожар, загорись этот бревенчатый дом – от них не останется и следа!

– И от гнезда нашего тоже! – сказала аистиха. – Но о нем ты думаешь меньше, чем об этих перьях да о болотной принцессе! Отправлялся бы уж и сам к ней в трясиноу. Дурной ты отец семейства! Я говорила это еще в ту пору, когда в первый раз сидела на яйцах! Вот подожди, эта шальная девчонка еще угодит в кого-нибудь из нас стрелой! Она ведь сама не знает, что делает! А мы-то здесь подольше живем, – хоть бы об этом вспомнила! И повинности наши мы уплачиваем честно: перо, яйцо и одного птенца в год, как положено! Думаешь, мне придет теперь в голову слететь вниз, во двор, как бывало в старые годы или как и нынче в Египте, где я держусь на дружеской ноге со всеми – нисколько не забываясь, впрочем, – и сую нос во все горшки и котлы? Нет, здесь я сижу в гнезде да злюсь на эту девчонку! И на тебя тоже! Оставил бы ее в кувшинке, пусть бы себе погибла!

– Ты гораздо добрее в душе, чем на словах! – сказал аист. – Я тебя знаю лучше, чем ты сама!

И он подпрыгнул, тяжело взмахнул два раза крыльями, вытянул ноги назад, распустил оба крыла, точно паруса, и полетел так, набирая высоту; потом опять сильно взмахнул крыльями и опять

поплыл по воздуху. Солнце играло на белых перьях, шея и голова вытянулись вперед... Вот это был полет!

– Он и до сих пор красивее всех! – сказала аистиха. – Но ему-то я не скажу этого!

В эту осень викинг вернулся домой рано. Много добычи и пленных привез он с собой. В числе пленных был молодой христианский священник, один из тех, что отвергали богов древнего Севера. В последнее время в замке викинга – и в главном покое и на женской половине – то и дело слышались разговоры о новой вере, которая распространилась по всем странам Юга и, благодаря святому Ансгарию, проникла даже сюда, на Север. Даже Хельга уже слышала о боге, пожертвовавшем собою из любви к людям и ради их спасения. Она все эти рассказы, как говорится, в одно ухо впускала, а в другое выпускала. Слово «любовь» находило доступ в ее душу лишь в те минуты, когда она в образе жабы сидела, съежившись, в запертой комнате. Но жена викинга чутко прислушивалась к рассказам и преданиям, ходившим о сыне единого истинного бога, и они будили в ней новые чувства.

Воины, вернувшись домой, рассказывали о великолепных храмах, высеченных из драгоценного камня и воздвигнутых в честь того, чьим заветом была любовь. Они привезли с собой и два тяжелых золотых сосуда искусной работы, из которых исходил какой-то удивительный аромат.

Это были две кадильницы, которыми кадили христианские священники перед алтарями, никогда не окроплявшимися кровью. На этих алтарях вино и хлеб превращались в кровь и тело Христовы, принесенные им в жертву ради спасения всех людей – даже не родившихся еще поколений.

Молодого священника связали по рукам и ногам веревками из лыка и посадили в глубокий, сложенный из камней подвал замка. Как он был прекрасен! «Словно сам Бальдур!» – сказала жена викинга, тронутая бедственным положением пленника, а Хельге хотелось, чтобы ему продернули под коленками толстые веревки и привязали к хвостам диких быков.

– Я бы выпустила на них собак: то-то бы травля пошла! По лесам, по болотам, прямо в степь! Любо! А еще лучше – самой нестись за ними по пятам!

Но викинг готовил пленнику иную смерть: христианин, как отрицатель и поноситель могучих богов, был обречен в жертву этим самым богам. На жертвенном камне, в священной роще, впервые должна была пролиться человеческая кровь.

Хельга выпросила позволения обрызгать кровью жертвы изображения богов и народ, отточила свой нож и потом с размаху всадила его в бок пробежавшей мимо огромной свирепой дворовой собаке.

– Для пробы! – сказала она, а жена викинга сокрушенно поглядела на дикую, злую девушку. Ночью, когда красота и безобразие Хельги, по обыкновению, поменялись местами, мать обратилась к ней со словами горячей укоризны, которые сами собою вырвались из наболевшей души.

Безобразная, похожая на тролля жаба устремила на нее свои печальные карие глаза и, казалось, понимала каждое слово, как разумный человек.

– Никогда и никому, даже супругу моему, не проговорила я о том, что терплю из-за тебя! – говорила жена викинга. – И сама не думала я, что так жалею тебя! Велика, видно, любовь материнская, но твоя душа не знает любви! Сердце твое похоже на холодную тину, из которой ты явилась в мой дом!

Безобразное создание задрожало, как будто эти слова затронули какие-то невидимые нити, соединявшие тело с душой; на глазах жабы выступили крупные слезы.

– Настанет время и твоего испытания! – продолжала жена викинга. – Но много горя придется тогда изведать и мне!.. Ах, лучше бы выбросили мы тебя на проезжую дорогу, когда ты была еще крошкой; пусть бы ночной холод усыпил тебя навеки!

Тут жена викинга горько заплакала и ушла, полная гнева и печали, за занавеску из звериной шкуры, подвешенную к балке и заменявшую перегородку.

Жаба, съежившись, сидела в углу одна; мертвая тишина прерывалась лишь ее тяжелыми, подавленными вздохами; казалось, в глубине сердца жабы с болью зарождалась новая жизнь. Вдруг она сделала шаг к дверям, прислушалась, потом двинулась дальше, схватилась своими беспомощными лапами за тяжелый дверной болт и тихонько выдвинула его из скобы. В горнице

стоял зажженный ночник; жаба взяла его и вышла за двери; казалось, чья-то могучая воля придавала ей силы. Вот она вынула железный болт из скобы, прокралась к спавшему пленнику и дотронулась до него своею холодною, липкою лапой. Пленник проснулся, увидел безобразное животное и задрожал, словно перед наваждением злого духа. Но жаба перерезала ножом связывавшие его веревки и сделала ему знак следовать за нею. Пленник сотворил молитву и крестное знамение – наваждение не исчезало; тогда он произнес:

– Блажен, кто разумно относится к малым сим, – Господь спасет его в день несчастья!.. Но кто ты? Как может скрываться под оболочкой животного сердце, полное милосердного сострадания?

Жаба опять кивнула головой, провела пленника по уединенному проходу между спускавшимся с потолка до полу коврами в конюшню и указала на одну из лошадей. Пленник вскочил на лошадь, но вслед за ним вскочила и жаба и примостилась впереди него, уцепившись за гриву лошади. Пленник понял ее намерение и пустил лошадь вскачь по окольной дороге, которую никогда бы не нашел один.

Скоро он забыл безобразие животного, понял, что это чудовище было орудием милости Божьей, и из уст его полились молитвы и священные псалмы. Жаба задрожала – от молитв ли, или от утреннего предрассветного холодка? Что ощущала она – неизвестно, но вдруг приподнялась на лошади, как бы желая остановить ее и спрыгнуть на землю. Христианин силою удержал жабу и продолжал громко петь псалом, как бы думая победить им злые чары. Лошадь понеслась еще быстрее: небо заалело, и вот первый луч солнца прорвал облако. В ту же минуту произошло превращение: жаба стала молодой красавицей с демонски злою душой! Молодой христианин увидел, что держит в объятиях красавицу девушку, испугался, остановил лошадь и соскочил на землю, думая, что перед ним новое наваждение. Но и Хельга в один прыжок очутилась на земле, короткое платье едва доходило ей до колен; выхватив из-за пояса нож, она бросилась на остолбеневшего христианина.

– Постой! – крикнула она. – Постой, я прокалю тебя ножом насквозь. Ишь, побледнел, как солома! Раб! Безбородый!

Между нею и пленником завязалась борьба, но молодому христианину, казалось, помогали невидимые силы. Он крепко стиснул руки девушки, а старый дуб, росший у дороги, помог ему одолеть ее окончательно: Хельга запуталась ногами в узловатых, переплетающихся корнях дуба, вылезших из земли. Христианин крепко охватил ее руками и повлек к протекавшему тут же источнику. Окропив водою грудь и лицо девушки, он произнес заклинание против нечистого духа, сидевшего в ней, и осенил ее крестным знаменем, но одно крещение водою не имеет настоящей силы, если душа не омыта внутренним источником веры.

И все-таки во всех действиях и словах христианина, совершавшего таинство, была какая-то особая, сверхчеловеческая сила, которая и покорила Хельгу. Она опустила руки и удивленными глазами, вся бледная от волнения, смотрела на молодого человека. Он казался ей могучим волшебником, посвященным в тайную науку. Он ведь чертил над ней таинственные знаки, творил заклинания! Она не моргнула бы глазом перед занесенным над ее головой блестящим топором или острым ножом, но когда он начертил на ее челе и груди знак креста, она закрыла глаза, опустила голову на грудь и присмирела, как прирученная птичка.

Тогда он кротко заговорил с нею о подвиге любви, совершенном ею в эту ночь, когда она, в образе отвратительной жабы, явилась освободить его от уз и вывести из мрака темницы к свету жизни. Но сама она – говорил он – опутана еще более крепкими узами, и теперь его очередь освободить ее и вывести к свету жизни. Он повезет ее в Хедебю, к святому Ансгарю, и там, в этом христианском городе, чары с нее будут сняты. Но он уже не смел везти ее на лошади перед собою, хотя она и покорилась ему.

– Ты сядешь позади меня, а не впереди! Твоя красота обладает злой силой, и я боюсь ее! Но с помощью Христа победа все-таки будет на моей стороне.

Тут он преклонил колена и горячо помолился; безмолвный лес как будто превратился в святой храм: словно члены новой паствы, запели птички; дикая мята струила аромат, как бы желая заменить ладан. Громко прозвучали слова священного писания:

«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет!»

И он стал говорить девушке о духовной тоске, о стремлении к высшему всей природы, а ретивый конь в это время стоял спокойно, пощипывая листики ежевики; сочные, спелые ягоды падали в руку Хельги, как бы предлагая ей утолить ими жажду. И девушка покорно дала христианину усадить себя на круп лошади; Хельга была словно во сне. Христианин связал две ветви наподобие креста и высоко поднял его перед собою. Затем они продолжали путь по лесу, который все густел и густел, дорожка становилась все уже и уже, а где и вовсе пропадала. Терновые кусты преграждали путь, точно опущенные шлагбаумы; приходилось объезжать их. Источник превратился не в быстрый ручей, а в стоячее болото; и его надо было объехать. В лесной чаще веяло отрадною, подкрепляющею и освежающею душу прохладой, но не меньше подкрепляли и освежали душу кроткие, дышащие верою и любовью, речи христианина, воодушевленного желанием вывести заблудшую из мрака к свету жизни.

Говорят, дождевая капля дробит твердый камень, волны морские обтачивают и округляют оторванные обломки скал – роса божьего милосердия, окропившая душу Хельги, также продолбила ее жесткую оболочку, сгладила шероховатости. Но сама Хельга еще не отдавала себе отчета в том, что в ней совершается: ведь и едва выглянувший из земли росток, впивая благотворную влагу росы и поглощая теплые лучи солнца, тоже мало ведает о заложенном в нем семени жизни и будущем плоде.

И, как песня матери незаметно западает в душу ребенка, ловящего одни отдельные слова, не понимая их смысла, который станет ему ясным лишь с годами, так западали в душу Хельги и животворные слова христианина.

Вот они выехали из леса в степь, потом опять углубились в дремучий лес и под вечер встретили разбойников.

– Где ты подцепил такую красотку? – закричали они, остановили лошадь и стащили всадника и всадницу; сила была на стороне разбойников.

У христианина для защиты был лишь нож, который он вырвал в борьбе у Хельги. Один из разбойников замахнулся на него

топором, но молодой человек успел отскочить в сторону, иначе был бы убит на месте. Топор глубоко врезался в шею лошади: кровь хлынула ручьем, и животное упало. Тут Хельга словно очнулась от глубокой задумчивости и припала к издыхающей лошади. Христианин тотчас заслонил девушку собою, но один из разбойников раздробил ему голову секирой. Кровь и мозг брызнули во все стороны, и молодой священник пал мертвым. Разбойники схватили Хельгу за белые руки, но в эту минуту солнце закатилось, и она превратилась в безобразную жабу. Бледно-зеленый рот растянулся до самых ушей, руки и ноги стали тонкими и липкими, а кисти рук превратились в веерообразные лапы с перепонкой между пальцами. Разбойники в ужасе выпустили ее. Чудовище стояло перед ними с минуту, затем высоко подпрыгнуло и скрылось в лесной чаще. Разбойники поняли, что это или Локе сыграл с ними злую шутку, или перед ними совершилось страшное колдовство, и в ужасе убежали прочь. Полный месяц осветил окрестность, и безобразная жаба выползла из кустов. Она остановилась перед трупом христианина и коня и долго смотрела на них полными слез глазами; из груди ее вырвалось тихое кваканье, похожее на всхлипывание ребенка. Потом она начала бросаться то к тому, то к другому, черпала своею глубокою перепончатою горстью воду и брызгала на убитых. Но мертвых не воскресишь! Она поняла это. Скоро набегут дикие звери и растерзают их тела! Нет, не бывать этому! Она выроет для них такую глубокую могилу, какую только сможет. Но у нее был только толстый обломок ветви, а перепончатые лапы плохо рыли землю. В пылу работы она разорвала перепонку; из лап полилась кровь. Тут она поняла, что ей не справиться; она опять зачерпнула воды и обмыла лицо мертвого; затем прикрыла тела свежими, зелеными листьями, на них набросала больших ветвей, сверху еще листьев, на все это навалила тяжелые камни, какие только в силах была поднять, а все отверстия между ними заткнула мхом. Она надеялась, что под таким могильным курганом тела будут в безопасности. За эту тяжелую работу прошла ночь; выглянуло солнышко, и Хельга опять превратилась в красавицу девушку, но руки ее были все в крови, а по розовым девичьим щекам в первый раз в жизни струились слезы.

За минуту до превращения обе ее природы словно слились в одну. Она задрожала всем телом и тревожно оглянулась кругом, словно только пробудясь от страшного сна, затем бросилась к стройному буку, крепко уцепилась за ветви, ища точку опоры, и в один миг, как кошка, вскарабкалась на вершину. Там она крепко примостилась на ветвях и сидела, как пугливая белка, весь день одна-одинешенька среди пустынного безмолвия леса. Пустынное безмолвие леса! Да, тут было и пустынно и безмолвно, только в воздухе кружились бабочки, не то играя, не то борясь между собою; муравьиные кучки кишели крохотными насекомыми; в воздухе плясали бесчисленные рои комаров, носились тучи жужжащих мух, божьих коровок, стрекоз и других крылатых созданий; дождевой червяк выползал из сырой почвы; кроты выбрасывали комья земли, – словом, тихо и пустынно здесь было лишь в том смысле, в каком принято говорить и понимать это. Никто из лесных обитателей не обращал на Хельгу внимания, кроме сорок, с криком летавших над вершиной дерева, где она сидела. Они даже перепрыгивали с ветки на ветку, подбираясь поближе к ней, – такие они смелые и любопытные! Но довольно было ей метнуть на них взгляд, и они разлетались; так им и не удалось разгадать это странное явление, да и сама Хельга не могла разгадать себя!

Перед закатом солнца предчувствие приближавшегося превращения заставило Хельгу слезть с дерева; последний луч погас, и она опять сидела на земле в виде съежившейся жабы с разорванной перепонкою между пальцами. Но глаза безобразного животного сияли такую красотой, какую вряд ли отличались даже глаза красавицы Хельги. В этих кротких, нежных глазах светились глубоко чувствующая душа и человеческое сердце; ручьями лились из них слезы, облегчая переполненную горем душу.

На кургане лежал еще крест – последняя работа умершего христианина. Хельга взяла его, и ей сама собою пришла в голову мысль утвердить крест между камнями над курганом. При воспоминании о погребенном под ним слезы заструились еще сильнее, и Хельга, повинувшись какому-то внутреннему сердечному влечению, вздумала начертить знаки креста на земле вокруг всего кургана – вышла бы такая красивая ограда! Но едва она

начертила обеими лапами первый же крест, перепонка слетела с них, как разорванная перчатка. Она омыла их в воде источника и удивленно посмотрела на свои белые тонкие руки, невольно сделала ими тот же знак в воздухе между собою и могилою, губы ее задрожали, и с языка слетело имя, которое она столько раз во время пути слышала от умершего: «Господи Иисусе Христе»!

Мгновенно оболочка жабы слетела с Хельги, и она опять стала молодой красавицей девушкой; но голова ее устало склонилась на грудь, все тело просило отдыха – она заснула.

Недолго, однако, спала она; в полночь она пробудилась: перед нею стояла убитая лошадь, полная жизни, вся окруженная сиянием; глаза ее метали пламя; из глубокой раны на шее тоже лился свет. Рядом с лошадью стоял и убитый христианин, «прекраснее самого Бальдура» – сказала бы жена викинга. Он тоже был весь окружен сиянием.

Кроткие глаза его смотрели испытующе-серьезно, как глаза праведного судии, проникающего взглядом в самые сокровенные уголки души. Хельга задрожала, память ее пробудилась мгновенно, словно в день последнего суда. Все доброе, что выпало ей на долю, каждое ласковое слово, слышанное ею, – все мгновенно ожило в ее памяти, и она поняла, что в эти дни испытаний ее, дитя живой души и мертвой тины, поддержала одна любовь. Она осознала, что повиновалась при этом лишь голосу внутреннего настроения, а сама для себя не сделала ничего. Все было ей дано, все она совершила не сама собою, а руководимая чьею-то высшею волею. Сознывая все свое ничтожество, полная стыда, смиренно преклонилась она перед тем, кто читал в глубине ее сердца. В ту же минуту она почувствовала, как зажглась в ней, как бы от удара молнии, светлая, божественная искра, искра духа святого.

– Дочь тины! – сказал христианин. – Из тины, из земли ты взята, из земли же ты и восстанешь! Солнечный луч, что животворит твое тело, сознательно стремится слиться со своим источником; но источник его не солнце, а сам Бог! Ни одна душа в мире не погибает; но медленно течет вся жизнь земная и есть лишь единый миг вечности. Я явился к тебе из обители мертвых; некогда и ты совершишь тот же путь через глубокие долины в

горные светлые селения, где обитают Милость и Совершенство. Я поведу тебя теперь, но не в Хедебю для восприятия крещения, – ты должна сначала прорвать пелену, стелющуюся над глубоким болотом, и освободить живой корень твоей жизни и колыбели, выполнить свое дело, прежде нежели удостоишься посвящения!

И, посадив ее на лошадь, он протянул ей золотую кадила, похожую на ту, что Хельга видела раньше в замке викинга; из кадила струился ароматный фимиам. Рана на лбу убитого христианина сияла, точно диадема.

Он взял крест, возвышавшийся над курганом, и высоко поднял его перед собою; они понеслись по воздуху над шумящим лесом, над курганами, под которыми были погребены герои, верхом на своих добрых конях. И могучие тени поднялись, выехали и остановились на вершинах курганов; лунный свет играл на золотых обручах, красовавшихся на лбах героев; плащи их развевались по ветру. Дракон, страж сокровищ, поднял голову и смотрел воздушным путникам вслед. Карлики выглядывали на них из холмов, из борозд, проведенных плугом, мелькая голубыми, красными и зелеными огоньками, – словно сотни искр перебегали по золе, оставшейся после сгоревшей бумаги.

Они пролетали над лесами, степями, озерами и трясиными, направляясь к Дикому болоту. Долетев до него, они принялись реять над ним: христианин высоко поднимал крест, блестящий, точно золотой, а из уст его лились священные песнопения; Хельга вторила ему, как дитя вторит песне матери, и кадила при этом золотую кадила. Из кадила струился такой сильный, чудодейственный фимиам, что осока и тростник зацвели, а со дна болота поднялись зеленые стебли, все, что только носило в себе зародыш жизни, пустило ростки и вышло на свет Божий. На поверхности воды раскинулся роскошный цветочный ковер из кувшинок, а на нем покоилась в глубоком сне молодая женщина дивной красоты. Хельга подумала, что видит в зеркале вод свое собственное отражение, но это была ее мать, супруга болотного царя, египетская принцесса.

Христианин повелел спящей подняться на лошадь, и та опустилась под новую тяжестью, точно свободно висящий в воздухе саван, но христианин осенил ее крестным знаменем, и тень вновь окрепла.

Все трое выехали на твердую почву.

Пропел петух во дворе замка викинга, и видения рассеялись в воздухе, как туман от дуновения ветра. Мать и дочь очутились лицом к лицу.

– Не себя ли я вижу в глубокой воде? – спросила мать.

– Не мое ли это отражение в водяном зеркале? – промолвила дочь.

Они приблизились друг к другу и крепко обнялись. Сердце матери забило сильнее, и она поняла почему.

– Мое дитя, цветок моего сердца, мой лотос из глубины вод!

И она опять обняла дочь и заплакала; эти слезы были для Хельги новым крещением, возрождавшим ее к жизни и любви.

– Я прилетела на болото в лебедином оперении и здесь сбросила его с себя! – начала свой рассказ мать. – Ступив на зыбкую почву, я погрузилась в болотную тину, которая сразу же сомкнулась над моей головой. Скоро я почувствовала приток свежей воды, и какая-то неведомая сила увлекала меня все глубже и глубже; веки мои отяжелели, и я заснула... Во сне мне грезилось, что я опять внутри египетской пирамиды, но передо мной – колеблющийся ольховый пенек, который так испугал меня на поверхности болота. Я рассматривала трещины на его коре, и они вдруг засветились и стали иероглифами – передо мной очутилась мумия. Наружная оболочка ее вдруг распалась, и оттуда выступил древний царь, покоившийся тысячи лет, черный как смоль, лоснящийся, как лесная улитка или жирная, черная болотная грязь. Был ли передо мною сам болотный царь, или мумия – я уж перестала понимать. Он обвинил меня руками, и мне показалось, что я умираю. Очнувшись я, почувствовав на своей груди что-то теплое: на груди у меня сидела, трепеща крылышками, птичка, щебетала и пела. Потом она взлетела с моей груди кверху, к черному, тяжелому своду, но длинная зеленая лента привязывала ее ко мне. Я поняла ее тоскливое щебетанье: «На волю, на волю, к отцу!» Мне вспомнился мой отец, залитая солнцем родина, вся моя жизнь, моя любовь... И я развязала узел, отпустила птичку на волю к отцу! С той минуты я уже не видела никаких снов и спала непробудно, пока сейчас меня не вызвали со дна болота эти звуки и аромат!

Где же развевалась, где была теперь зеленая лента, привязывавшая птичку к сердцу матери? Видел ее лишь аист, лентой ведь был зеленый стебель, узлом – яркий цветок – колыбель малютки, которая теперь превратилась в юную красавицу девушку и опять покоилась на груди у матери.

А в то время, как они стояли обнявшись на берегу болота, над ними кружился аист. Он быстро слетал назад, в гнездо, за спрятанными там давным-давно оперениями и бросил их матери с дочерью. Они сейчас же накинули их на себя и поднялись на воздух в виде белых лебедек.

– Теперь поговорим! – сказал аист. – Теперь мы пойдем друг друга, хотя клюв не у всех птиц скроен одинаково!.. Хорошо, что вы явились как раз сегодня ночью: днем нас бы уже не было тут. И я, и жена, и птенцы – все улетаем поутру на юг! Я ведь старый знакомый ваш с нильских берегов! И жена моя тут же, со мною; сердце у нее добрее, чем язык! Она всегда говорила, что принцесса выпутается из беды! А я и птенцы наши перенесли сюда лебединые перья!.. Ну, очень рад! Ведь это просто счастье, что я еще здесь! На заре мы улетаем всей компанией! Мы полетим вперед, только не отставайте, и вы не собьетесь с дороги! Мы с птенцами будем, впрочем, присматривать за вами.

– И я принесу с собой на родину лотос! – сказала египетская принцесса. – Он летит рядом со мною в лебедином оперении! Цветок моего сердца со мною – вот как это все разрешилось! Домой теперь, домой!

Но Хельга сказала, что не может покинуть Данию, не повидавшись со своею приемною матерью, доброю женою викинга. Хельга припомнила всю ее доброту, каждое ее ласковое слово, каждую слезу, пролитую ею из-за приемной дочери, и в эту минуту девушке казалось даже, что она любит ту мать сильнее, чем эту.

– Да нам и надо слетать в замок викинга! – ответил аист. – Там ведь ждет нас жена с птенцами! Вот-то заворочают они глазами и затрещат! Жена – та, пожалуй, не много скажет! Она вообще скупа на слова, выражается кратко и вразумительно, а думает еще лучше! Сейчас я затрещу, чтобы предупредить их о нашем приближении!

И он затрещал, защелкал клювом. Скоро они подлетели к замку

викинга.

В замке все было погружено в глубокий сон. Забылась сном и жена викинга, но только поздней ночью: страх и беспокойство долго не давали ей уснуть. Прошло ведь уже три дня, как Хельга исчезла вместе с пленным христианином; должно быть, это она помогла ему бежать: в конюшне не доставало именно ее лошади. Но как могло все это случиться? И жене викинга невольно припомнились рассказы о чудесах, которые творил сам белый Христос и веровавшие в него. Все эти мысли, бродившие в ее голове наяву, облеклись во сне в живые образы, и вот ей пригрезилось, что она по-прежнему сидит на постели, погруженная в думы о Хельге; все кругом тонет в сплошном мраке, надвигается буря. С обеих сторон – и со стороны Северного моря и со стороны Каттегата – слышится грозный шум прибоя. Чудовищная змея, обвивающая в глубине морской кольцом всю землю, бьется в судорогах. Приближается страшная ночь – Рагнарок, как древние называли последнюю ночь, когда рухнет мир и погибнут самые боги. Вот слышится громкий звук рога и по радуге выезжают верхом на конях боги, закованные в светлые доспехи, выезжают на последнюю битву! Перед ними летят крылатые валькирии, а замыкается поезд рядами умерших героев. Небо залито северным сиянием, но мрак победит. Приближается ужасный час.

А рядом с испуганной женой викинга сидит на полу Хельга в образе жабы, дрожит от страха и жметесь к ней. Она берет жабу на колени и с любовью прижимает к себе, хоть она и безобразна. Вот воздух задрожал от ударов мечей и палиц, засвистели стрелы – словно град посыпался с неба. Настал тот час, когда земля и небо должны были рухнуть, звезды упасть с неба, и все погибнуть в пламени Сурта.

Но жена викинга знала, что после того возникнут новое небо и новая земля, и хлебная нива заволнуется там, где прежде катило свои волны по желтому песчаному дну сердитое море. Она знала, что воцарится новый неведомый бог, и к нему вознесется кроткий, светлый Бальдур, освобожденный из царства теней. И вдруг она видит его перед собою! Она узнала его с первого взгляда – это был пленный христианин.

– Белый Христос! – воскликнула она и, произнося это имя, поцеловала в лоб свое безобразное дитя – жабу. В ту же минуту оболочка с жабы спала, и перед ней очутилась Хельга, прекрасная, как всегда, но такая кроткая и с таким сияющим любовью взглядом! Хельга поцеловала руки жены викинга, как бы благодаря ее за все заботы и любовь, которыми она окружала свою приемную дочь в тяжелое время испытания, за все добрые мысли и чувства, которые она пробудила в ее душе, и за произнесенное ею сейчас имя белого Христа. Хельга повторила это имя и вдруг поднялась на воздух в виде лебедя: белые крылья распустились и зашумели, словно взлетала на воздух целая стая птиц.

Тут жена викинга проснулась. На дворе в самом деле слышалось хлопанье крыльев. Она знала, что настала пора обычного отлета аистов, и догадалась, что это они шумели крыльями. Ей захотелось еще раз взглянуть на них и попрощаться с ними. Она встала, подошла к отверстию, заменяющему окно, распахнула ставню и выглянула во двор. На крыше пристройки сидели рядышком сотни аистов, а над двором, над высокими деревьями, летали стаями другие; прямо же против окна, на краю колодца, где так часто сиживала, пугая свою приемную мать, красавица Хельга, сидели две лебедки, устремив свои умные глаза на жену викинга. Она вспомнила свой сон, который произвел на нее такое глубокое впечатление, что почти казался ей действительностью, вспомнила Хельгу в образе лебедя, вспомнила христианина, и сердце ее вдруг радостно забилося.

Лебедки захлопали крыльями и изогнули шеи, точно кланялись ей, а она, как бы в ответ на это, протянула к ним руки и задумчиво улыбнулась им сквозь слезы.

Аисты, шумя крыльями и щелкая клювами, взвились в воздух, готовясь направить свой полет к югу.

– Мы не станем ждать этих лебедок! – сказала аистиха. – Коли хотят лететь с нами, пусть не мешкают! Не оставаться же нам тут, пока не соберутся лететь кулики! А ведь лететь так, как мы, семьями, куда пристойнее, чем так, как летят зяблики или туруханы: у тех мужья летят сами по себе, а жены сами по себе! Просто неприлично! А у лебедей-то, у лебедей-то что за полет?!

– Всяк летит по-своему! – ответил аист. – Лебеди летят косою линией, журавли – треугольником, а кулики – змеею!

– Пожалуйста, не напоминай мне теперь о змеях! – заметила аистиха. – У птенцов может пробудиться аппетит, а чем их тут накормишь?

– Так вот они, высокие горы, о которых я слышала! – сказала Хельга, летевшая в образе лебедки.

– Нет, это плывут под нами грозовые тучи! – возразила мать.

– А что это за белые облака в вышине? – спросила дочь.

– Это вечно снежные вершины гор! – ответила мать, и они, перелетев Альпы, продолжали путь по направлению к Средиземному морю.

– Африка! Египет! – ликовала дочь нильских берегов, завидев с высоты желтую волнистую береговую полосу своей родины.

Завидели берег и аисты и ускорили полет.

– Вот уж запахло нильскою тиной и влажными лягушками! – сказала аистиха птенцам. – Ох, даже защекотало внутри! Да, вот теперь сами попробуете, каковы они на вкус, увидите марабу, ибисов и журавлей. Они все нашего же рода, только далеко не такие красивые. А важничают! Особенно ибисы – их избаловали египтяне; они делают из ибисов мумии, набивая их душистыми травами. А по мне, лучше быть набитой живыми лягушками! Вот вы узнаете, как это приятно! Лучше при жизни быть сытым, чем после смерти попасть в музей! Таково мое мнение, а оно самое верное!

– Вот и аисты прилетели! – сказали обитатели дворца на нильском берегу. В открытом покое на мягком ложе, покрытом шкурой леопарда, лежал сам царственный владыка, по-прежнему ни живой, ни мертвый, ожидая целебного лотоса из глубокого северного болота. Родственники и слуги окружали ложе.

И вдруг в покой влетели две прекрасные лебедки, прилетевшие вместе с аистами. Они сбросили с себя оперения, и все присутствовавшие увидели двух красавиц, похожих друг на друга, как две капли воды. Они приблизились к бледному, увядшему старцу и откинули назад свои длинные волосы. Хельга склонилась к деду, и в ту же минуту щеки его окрасились румянцем, глаза заблестали, жизнь вернулась в окоченевшее тело. Старец встал

помолодевшим, здоровым, бодрым! Дочь и внучка взяли его за руки, точно для утреннего приветствия после длинного тяжелого сна.

Что за радость воцарилась во дворце! В гнезде аистов тоже радовались – главным образом, впрочем, хорошему корму и обилию лягушек. Ученые впопыхах записывали историю обеих принцесс и целебного цветка, принесшего с собою счастье и радость всей стране и всему царствующему дому, аисты же рассказывали ее своим птенцам, но, конечно, по-своему, и не прежде, чем все наелись досыта, – не то у них нашлось бы иное занятие!

– Теперь и тебе перепадет кое-что! – шепнула аистиха мужу. – Уж не без того!

– А что мне нужно? – сказал аист. – И что я такое сделал? Ничего!

– Ты сделал побольше других! Без тебя и наших птенцов принцессам вовек не видать бы Египта и не исцелить старика. Конечно, тебе перепадет за это! Тебя, наверно, удостоят степени доктора, и наши следующие птенцы уже родятся в этом звании, их птенцы – тоже и так далее! По мне, ты и теперь ни дать ни взять – египетский доктор!

А ученые и мудрецы продолжали развивать основную мысль, проходившую, как они говорили, красною нитью через все событие, и толковали ее на разные лады. «Любовь – родоначальница жизни» – это была основная мысль, а истолковывали ее так: «Египетская принцесса, как солнечный луч, проникла во владения болотного царя, и от их встречи произошел цветок...»

– Я не сумею как следует передать их речей! – сказал подслушивавший эти разговоры аист, когда ему пришлось пересказать их в гнезде. – Они говорили так длинно и так мудро, что их сейчас же наградили чинами и подарками; даже лейб-повар получил орден – должно быть, за суп!

– А ты что получил? – спросила аистиха. – Не следовало бы им забывать самое главное лицо, а самое главное лицо – это ты! Ученые-то только языком трепали! Но дойдет еще очередь и до тебя!

Поздней ночью, когда весь дворец, все его счастливые обитатели

спали сладким сном, не спала во всем доме лишь одна живая душа. Это был не аист – он хоть и стоял возле гнезда на одной ноге, но спал на страже, – не спала Хельга. Она вышла на террасу и смотрела на чистое, ясное небо, усеянное большими блестящими звездами, казавшимися ей куда больше и ярче тех, что она привыкла видеть на севере. Но это были те же самые звезды!

И Хельге вспомнились кроткие глаза жены викинга и слезы, пролитые ею над своею дочкой-жабой, которая теперь любовалась великолепным звездным небом на берегу Нила, вдыхая чудный весенний воздух. Она думала о том, как умела любить эта язычница, какими нежными заботами окружала она жалкое создание, скрывавшее в себе под человеческою оболочкой звериную натуру, а в звериной – внушавшее такое отвращение, что противно было на него и взглянуть, не то что дотронуться! Хельга смотрела на сияющие звезды и вспомнила блеск, исходивший от чела убитого христианина, когда они летели вместе над лесом и болотом. В ушах ее снова раздавались те звуки и слова, которые она слышала от него тогда, когда сидела позади него на лошади: он говорил ей о великом источнике любви, высшей любви, обнимающей все поколения людские!..

Когда-то страусы славились красотой; крылья их были велики и сильны. Однажды вечером другие могучие лесные птицы сказали страусу: «Брат, завтра, бог даст, полетим к реке напиться!» И страус ответил: «Захочу и полечу!» На заре птицы полетели. Все выше и выше взвивались они, все ближе и ближе к солнцу, Божьему оку. Страус летел один, впереди всех, горделиво, стремясь к самому источнику света и полагаясь лишь на свои силы, а не на подателя их; он говорил не «Бог даст», а «захочу», и вот ангел возмездия сдернул с раскаленного солнечного диска тонкую пелену – в ту же минуту крылья страуса опалило, как огнем, и он, бессильный, уничтоженный, упал на землю. Никогда больше он и весь его род не могли подняться с земли! Испугавшись чего-нибудь, они мечутся как угорелые, описывая все один и тот же узкий круг, и служат нам, людям, живым напоминанием и предостережением.

Хельга задумчиво опустила голову, посмотрела на страусов,

мечущихся не то от ужаса, не то от глупой радости при виде своей собственной тени на белой, освещенной луной, стене, и душою ее овладело серьезное настроение. Да, ей выпала на долю богатая счастьем жизнь, что же ждет ее впереди? Еще высшее счастье – «даст Бог!»

Ранней весной, перед отлетом аистов на север, Хельга взяла к себе золотое кольцо, начертила на нем свое имя и подозвала к себе своего знакомого аиста. Когда тот приблизился, Хельга надела ему кольцо на шею, прося отнести его жене викинга, – кольцо скажет ей, что приемная дочь ее жива, счастлива и помнит о ней.

«Тяжеленько это будет нести! – подумал аист. – Но золото и честь не выбросишь на дорогу! „Аист приносит счастье“, – скажут там на севере!..»

– Ты несешь золото, а не яйца! – сказала аистиха. – Но ты-то принесешь его только раз, а я несу яйца каждый год! Благодарности же не дождется ни один из нас! Вот что обидно!

– Довольно и собственного сознания, женушка! – сказал аист.

– Ну, его не повесишь себе на шею! – ответила аистиха. – Оно тебе ни корму, ни попутного ветра не даст!

И они улетели.

Маленький соловей, распевавший в тамариндовой роще, тоже собирался улететь на север; в былые времена Хельга часто слышала его возле Дикого болота. И она дала поручение и соловью: с тех пор, как она полетала в лебедином оперении, она могла объясняться на птичьем языке и часто раз говаривала и с аистами и с ласточками, которые понимали ее. Соловей тоже понял ее: она просила его поселиться на Ютландском полуострове в буковом лесу, где возвышался курган из древесных ветвей и камней, и уговорить других певчих птичек ухаживать за могилой и, не умолкая, петь над нею свои песни. Соловей полетел стрелой, полетело стрелой и время!

Осенью орел, сидевший на вершине пирамиды, увидел приближавшийся богатый караван; двигались нагруженные сокровищами верблюды, гарцевали на горячих арабских конях разодетые и вооруженные всадники. Серебристо-белые кони с красными раздувающимися ноздрями и густыми гривами,

ниспадавшими до тонких стройных ног, горячились и фыркали. Знатные гости, в числе которых был и один аравийский принц, молодой и прекрасный, каким и подобает быть принцу, въехали во двор могучего владыки, хозяина аистов, гнездо которых стояло теперь пустым. Аисты находились еще на севере, но скоро должны были вернуться.

Они вернулись в тот самый день, когда во дворце царила шумная радость, кипело веселье – праздновали свадьбу. Невестой была разодетая в шелк, сиявшая драгоценными украшениями Хельга; женихом – молодой аравийский принц. Они сидели рядом за свадебным столом, между матерью и дедом.

Но Хельга не смотрела на смуглое мужественное лицо жениха, обрамленное черною курчавою бородой, не смотрела и в его огненные черные глаза, не отрывавшиеся от ее лица. Она устремила взор на усеянный светлыми звездами небесный свод.

Вдруг в воздухе послышались шум и хлопанье крыльев – вернулись аисты. Старые знакомые Хельги были тут же, и как ни устали они оба с пути, как ни нуждались в отдыхе, сейчас же спустились на перила террасы, зная, что за праздник идет во дворце. Знали они также – эта весть долетела до них, едва они приблизились к границам страны, – что Хельга велела нарисовать их изображение на стене дворца: аисты были ведь тесно связаны с историей ее собственной жизни.

– Очень мило! – сказал аист.

– Очень и очень мило! – объявила аистиха. – Меньшего уж нельзя было и ожидать!

Увидав аистов, Хельга встала и вышла к ним на террасу погладить их по спине. Старый аист наклонил голову, а молодые смотрели из гнезда и чувствовали себя польщенными.

Хельга опять подняла взор к небу и засмотрелась на блестящие звезды, сверкавшие все ярче и ярче. Вдруг она увидела, что между ними и ею витает прозрачный, светлый, светлее самого воздуха образ. Вот он приблизился к Хельге, и она узнала убитого христианина. И он явился к ней в этот торжественный день, явился из небесных чертогов!

– Небесный блеск и красота превосходят все, что может представить себе смертный! – сказал он.

И Хельга стала просит его так кротко, так неотступно, как никогда еще никого и ни о чем не просила, взять ее туда, в небесную обитель, хоть на одну минуту, позволить ей бросить хоть один-единственный взгляд на небесное великолепие!

И он вознесся с нею в обитель блеска, света и гармонии. Дивные звуки и мысли не только звучали и светились вокруг Хельги в воздухе, но и внутри ее, в глубине ее души. Словами не передать, не рассказать того, что она чувствовала!

– Пора вернуться! Тебя ищут! – сказал он.

– Еще минутку! – молила она. – Еще один миг!

– Пора вернуться! Все гости уже разошлись!

– Еще одно мгновение! Последнее...

И вот Хельга опять очутилась на террасе, но... все огни и в саду и в дворцовых покоях были уже потушены, аистов не было, гостей и жениха – тоже; все словно ветер развеял за эти три кратких мгновения.

Хельгу охватил страх, и она прошла через огромную, пустынную залу в следующую. Там спали чужеземные воины! Она отворила боковую дверь, которая вела в ее собственный покой, и вдруг очутилась в саду, – все стало тут по-другому! Край неба алел, занималась заря.

В три минуты, проведенные ею на небе, протекла целая земная ночь!

Тут Хельга увидела аистов, подозвала их к себе, заговорила с ними на их языке, и аист, подняв голову, прислушался и приблизился к ней.

– Ты говоришь по-нашему! – сказал он. – Что тебе надо? Откуда ты, незнакомка?

– Да ведь это же я, Хельга! Ты не узнаешь меня? Три минуты тому назад я разговаривала с тобой тут, на террасе!

– Ты ошибаешься! – ответил аист. – Ты, верно, видела все это во сне!

– Нет, нет! – сказала она и стала напоминать ему о замке викинга, о Диком болоте, о полете сюда...

Аист заморгал глазами и сказал:

– А, это старинная история! Я слышал ее еще от моей пра-пра-прабабушки! Тут, в Египте, правда, была такая принцесса из

Дании, но она исчезла в самый день своей свадьбы много-много лет тому назад! Ты сама можешь прочесть об этом на памятнике, что стоит в саду! Там высечены лебедки и аисты, а на вершине памятника стоишь ты сама, изваянная из белого мрамора!

Так оно и было. Хельга увидела памятник, поняла все и пала на колени.

Взошло солнце, и как прежде с появлением его спадала с Хельги безобразная оболочка жабы и из нее выходила молодая красавица, так теперь из брэнной телесной оболочки, очищенной крещением света, вознесся к небу прекрасный образ, чище, прозрачнее воздуха; солнечный луч вернулся к отцу!

А тело распалось в прах; на том месте, где стояла коленопреклоненная Хельга, лежал теперь увядший лотос.

– Новый конец истории! – сказал аист. – И совсем неожиданный!

Но ничего, мне он нравится!

– А что-то скажут о нем детки? – заметила аистиха.

– Да, это, конечно, важнее всего! – сказал аист.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Последний сон старого дуба (Рождественская сказка)



В лесу, на крутом берегу моря, рос старый-старый дуб; ему было ни больше, ни меньше, как триста шестьдесят пять лет, но это, ведь, для дерева всё равно, что для нас, людей столько же суток. Мы бодрствуем днём, а спим и видим сны ночью, дерево же бодрствует три времени года и спит только зимою. Зима – время его сна, ночь, сменяющая длинный день: весну, лето и осень.

В тёплые летние дни около дуба кружились и плясали мухи-подёнки. Каждая жила, порхала и веселилась, а, устав, опускалась в сладкой истоме отдохнуть на один из больших, свежих листьев дуба. И дерево всякий раз говорило крошечному созданию: – Бедняжка! Вся твоя жизнь – один день! Как коротко, как печально твоё существование!

– Печально?! – отвечала муха. – Что ты говоришь? Гляди, как светло, тепло и чудесно! Мне так весело!

– Да, ведь, всего один день, и – конец!

– Конец! – говорила муха. – Кому конец? И тебе разве тоже?

– Нет, я-то проживу, может быть, тысячи твоих дней; мой день равен, ведь, трём четвертям года! Ты даже и представить себе не можешь, как это долго!

– Нет; я и не понимаю тебя вовсе! Ты живёшь тысячи моих дней, а я живу тысячи мгновений, и каждое несёт мне с собою радость и веселие!.. Ну, а с твоею смертью приходит конец и всему этому великолепию, всему свету?

– Нет! – отвечало дерево. – Свет будет существовать куда дольше, так бесконечно долго, что я и представить себе не могу!

– Ну, так нам с тобою дана одинаково долгая жизнь, только мы считаем по разному!

И муха-подёнка плясала и кружилась в воздухе, радуясь своим нежным, изящным, прозрачно-бархатистым крылышкам, радуясь тёплому воздуху, напоенному ароматом клевера, шиповника, бузины и каприфолий, не говоря уже об аромате дикого яминника, скороспелок и душистой мяты. Аромат этот был так силён, что муха словно пьянела от него слегка. Что за длинный, чудный был день, полный радости и сладких ощущений! Когда же солнце заходило, мушка чувствовала такую приятную усталость, крылышки отказывались её носить, и она тихо опускалась на мягкую, волнующуюся травку, кивала головкой и сладко засыпала – навеки.

– Бедняжка! – говорил дуб. – Чересчур уж короткая жизнь!

И каждый летний день повторялась та же история: та же пляска, те же речи, вопросы и ответы; одна муха-подёнка жила, радовалась, веселилась и умирала, как другая.

Дерево бодрствовало весеннее утро, летний день и осенний вечер; теперь дело шло к ночи, ко сну, – приближалась зима.

Вот запели бури: «Покойной ночи, покойной ночи! Листья опали, листья опали! Их мы оборвали, их мы оборвали! Усни теперь, усни! Мы убаюкаем тебя, укачаем, потрепем во сне! Старые ветви трещат от удовольствия! Спи же, усни! Скоро настанет твоя триста шестьдесят пятая ночь! Для нас же ты – только годовалый ребёнок! Спи, усни! Облака посыплют тебя снегом, накинут на твои ноги мягкое, тёплое покрывало! Спи, усни!»

И дерево сбросило с себя свою зелёную одежду, собираясь на покой, готовясь уснуть, провести в грёзах всю долгую зиму, видеть во сне картины пережитого, как видят их во сне люди.

И дуб когда-то был крошкой; колыбелью ему служил маленький жёлудь. По человеческому счёту он переживал теперь четвертое столетие. Больше, великолепнее его не было дерева во всём лесу! Вершина его высоко возносилась над всеми деревьями и была видна с моря издалека, служила приметой для моряков. А дуб и не знал о том, сколько глаз искало его! В ветвях дуба гнездились лесные голуби, куковала кукушка, а осенью, когда листья его казались выкованными из меди, на ветви присаживались и другие перелётные птицы, отдохнуть перед тем, как пуститься через море. Но вот, настала зима, и дерево

стояло без листьев; обнажённые, извилистые, сучковатые ветви резко вырисовывались всеми своими изгибами; вороны и галки садились на них и толковали о тяжёлых временах, о том, как трудно будет зимою добывать прокорм!

В ночь под Рождество дубу приснился самый чудный сон из всех, виденных им в жизни. Послушаем же!

Дерево как будто чувствовало, что время праздничное, слышало звон колоколов, и ему грезился чудный, тёплый, летний день. Оно пышно раскинуло свою зелёную, мощную верхушку; солнечные зайчики бегали между листьями и ветвями; воздух был напоен ароматом трав и цветов; пёстрые бабочки догоняли друг друга; мухи-подёнки плясали, как будто всё только и существовало для их пляски и веселья. Всё, что пережило и видело вокруг себя дерево за всю свою долгую жизнь, проходило теперь перед ним в торжественном шествии. Оно видело, как через лес проезжали верхом благородные рыцари и дамы; на шляпах их развевались перья; у каждого всадника, у каждой всадницы сидел на руке сокол; звучали охотничьи рога, лаяли собаки. Видело дерево и неприятельские войска в блестящих латах и пёстрых одеждах; вооруженные копьями и алебардами воины разбивали и опять снимали палатки; ярко пылали сторожевые огни; воины располагались под деревом на ночлег, пели и отдыхали в тени его ветвей. Видело оно и влюблённых, встречавшихся около него при свете луны и вырезывавших свои инициалы на его серо-зелёной коре. На ветвях его как будто опять висели цитры и эолы арфы, которые развешивали, бывало, весёлые странствующие подмастерья, и ветер опять играл на них дивные мелодии. Лесные голуби ворковали, точно хотели высказать чувства, волновавшие при этом могучее дерево, а кукушка куковала, сколько ещё лет оставалось ему жить.

И вот, словно новый, могучий поток жизни заструился по всем, даже мельчайшим корешкам, по всем ветвям и листьям дерева. Оно потянулось и почувствовало всеми своими корешками, что и внизу под землёю струится жизнь и тепло. Оно почувствовало прилив новых сил, чувствовало, что растёт и растёт всё выше и выше. Ствол быстро, безостановочно тянулся ввысь, вершина его становилась всё раскидистее и кудрявее... Вместе с ростом

увеличивалась и сладкая тоска, стремление вырасти ещё выше, подняться к самому красному солнышку!

Вершина дуба уже поднялась выше облаков, которые, как стаи перелётных птиц или белых лебедей, неслись внизу.

Дерево видело каждым листком своим, словно в каждом были глаза. Оно видело и звёзды, хотя стоял ясный день. Какие они были большие, блестящие! Каждая светилась точно пара ясных, кротких очей. И дубу вспомнились другие знакомые, милые очи: очи детей и очи влюблённых, встречавшихся под его сенью в ясные лунные ночи.

Дуб переживал чудные, блаженные мгновения! И всё-таки он ощущал какую-то тоску, какую-то неудовлетворенность... Ему не доставало его лесных друзей! Он хотел, чтобы и все другие деревья леса, все кусты, растения и цветы поднялись так же высоко, ощутили бы ту же радость, видели тот же блеск, что и он! Могучий дуб даже и в эти минуты блаженного сна не был вполне счастлив: ему хотелось разделить своё счастье со всеми – и малыми и большими; он желал этого так страстно, так горячо, каждую свою ветвь, каждым листочком, как желают иногда чего-нибудь люди всеми фибрами своей души!

Вершина дуба качалась в порыве тоскливого томления, смотрела вниз, словно ища чего-то, и вдруг, до него явственно донеслось благоухание дикого ясминника, потом сильный аромат каприфолий и фиалок; ему показалось даже, что он слышит кукование кукушки!

И вот, сквозь облака проглянули зелёные верхушки леса! Дуб увидал под собою другие деревья; они тоже росли и тянулись к небу; кусты и травы тоже. Некоторые даже вырывали из земли свои корни, чтобы лететь к облакам быстрее. Впереди всех была берёза; гибкий ствол её, извилистый, как зигзаги молнии, тянулся всё выше и выше, ветви развевались, как зелёные флаги. Вся лесная флора, даже коричневые султаны тростника поднимались к облакам; птицы с песнями летели за нею, а на стебельке травки, развевавшемся по ветру, как длинная зелёная лента, сидел кузнечик и наигрывал крылышком на своей тонкой ножке. Майские жуки гудели, пчёлы жужжали, каждая птичка заливалась песенкой; в небесах всё пело и ликовало!

– А где же красненький водяной цветочек? Пусть и он будет с нами! – сказал дуб. – И голубой колокольчик, и малютка ромашка! – Дуб всех хотел видеть возле себя.

– Мы тут, мы тут! – зазвучало со всех сторон.

– А прошлогодний хорошенький дикий яминник? А чудный ковёр ландышей, что расстилался в лесу три года тому назад? А прелестная дикая яблонька и все другие растения, украшавшие лес в течении этих многих, многих лет? Ах, если бы и они все дожили до этого мгновения, были бы вместе с нами!

– Мы тут, мы тут! – зазвучало в вышине, как будто отвечавшие были уже впереди.

– Как хорошо, как дивно хорошо! – ликовал старый дуб. – Они все тут со мной – и малые и большие! Ни один не забыт! Возможно ли такое блаженство?

– В небесах у Бога всё возможно! – прозвучало в ответ.

И старый дуб, не перестававший расти, почувствовал вдруг, что совсем отделяется от земли.

– Вот это лучше всего! – сказал он. – Теперь я совсем свободен! Все узы порвались! Я могу взлететь к самому источнику света и блеска! И все мои дорогие друзья со мною! И малые, и большие, все!

– Все!

Пока же дуб грезил, над землёй и морем разразилась в святую ночь страшная буря. Мощные волны морские дико бились о берег, дерево трещало, качалось и, наконец, было вырвано с корнями в ту самую минуту, когда ему грезилось, что оно отделяется от земли. Дуб свалился. Триста шестьдесят пять лет минули для него, как день для мухи-подёнки.

На восходе рождественского солнышка буря утихла; слышался праздничный звон церковных колоколов; из всех труб, даже из трубы беднейшего крестьянина вился синий дымок, словно жертвенный фимиам в праздник друидов. Море успокоилось, и на большом корабле, выдержавшем ночную бурю, взвились флаги.

– А дерева-то нет больше! Ночная буря сокрушила наш могучий дуб, нашу приметку на берегу! – сказали моряки. – Кто нам заменит его? Никто!

Вот какую надгробную речь, краткою, но сказанною от чистого

сердца, почтили моряки старый дуб, поверженный бурей на снежный ковёр. Донёлся до дерева и старинный псалом, пропетый моряками. Они пели о рождественской радости и спасении людей, и сердца всех возносились вместе с звуками псалма высоко-высоко к небу, как возносился к нему, в своём последнем сне и старый дуб.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Кое-что



– Хочу добиться чего-нибудь! – сказал самый старший из пяти братьев. – Хочу приносить пользу! Пусть моё положение в свете будет самое скромное, – раз я делаю что-нибудь полезное, я уже не даром копчу небо. Займусь выделкою кирпичей. Они нужны всем, – значит я сделаю кое-что.

– Но очень мало! – сказал второй. – Выделка кирпичей – дело самое пустое. Стоит ли браться за такой труд, который может выполнить и машина? Нет, вот сделаться каменщиком, это – кое-что повыше; каменщиком я и буду. Это всё-таки цех, а попав в цех, сделаешься гражданином, у тебя будет своё знамя и свой

кабачок! Если же повезёт счастье, я стану держать и подмастерьев. И меня будут звать мастером, хозяином, а жену мою хозяйшкой! Вот это – кое-что повыше!

– И всё же не Бог вещь что! – сказал третий. – Каменщик никогда не может возвыситься до более почётного положения в обществе, чем простой ремесленник. Ты можешь быть честнейшим человеком, но ты «мастер», значит – из «простых». Нет, я добиваюсь кое-чего повыше! Я хочу быть строителем, вступить в область искусства, достигнуть высших ступеней в умственных сферах. Конечно, придётся начать снизу, – признаюсь откровенно – придётся поступить в ученики, носить фуражку, хотя я и привык к цилиндру, бегать за пивом и водкой, словом, быть на побегушках у простых подмастерьев, которые станут меня «тыкать», – что и говорить, обидно! Но я буду думать, что всё это один маскарад, маскарадные вольности, а завтра, то есть, когда я сам выйду в подмастерья, я пойду своею дорогой; до других мне и дела не будет! Я поступлю в академию, научусь рисовать, добьюсь звания архитектора – вот это уже кое-что повыше! Я могу сделаться «высокоблагородием», получить приставку к имени и спереди и сзади, и буду строить, строить, как и другие до меня! Вот что называется занять настоящее положение в обществе!

– Ну, а мне ничего такого не нужно! – сказал четвёртый. – Не хочу идти по проторенной дорожке, не хочу быть копией! Я гений и перещеголяю вас всех! Я изобрету новый стиль, новый вид построек, соответствующий климату и материалам страны, нашей национальности и современному развитию общества! А ко всему этому я прибавлю ещё один этаж – ради моей собственной гениальности!

– А если и климат и материалы никуда не годны? – сказал пятый. – Будет худо! Это, ведь, сильно влияет! Национальность тоже может развиваться в ущерб естественности, а желание идти в уровень с веком заставит тебя, пожалуй, забежать вперёд, как это часто и случается с молодёжью. Нет, как вижу, никто из вас не добьётся ничего путного, сколько вы там ни воображайте о себе! Но делайте, как знаете! Я не стану подражать вам, буду держаться в стороне и обсуждать ваши дела! В каждой вещи

найдётся изъясничик, вот я и стану выискивать его, да рассуждать о нём! Вот это – кое-что повыше!

Так он и сделал, и люди говорили о нём: «В нём есть кое-что! Умная голова! Одно вот – ничего не делает!» – Таким образом и он добился кое-чего.

Вот вам и историйка; не велика она, а конца ей нет, пока держится мир!

Но разве из пяти братьев так и не вышло ничего особенного? Стоило тогда и заводить о них разговор! А вот, послушайте, что вышло. Целая сказка!

Самый старший из братьев, тот, что выделявал кирпичи, скоро узнал, что из каждого готового кирпича выскакивает скиллинг, правда медный, но девяносто шесть таких, сложенных вместе, дают уже серебряный далер, и стоит только постучать им в дверь к булочнику, мяснику, портному, к кому хочешь – дверь сейчас настезь, и получай, что нужно. Так вот, на что годились кирпичи; некоторые из них шли, конечно, и в брак, так как трескались или ломались пополам, но и этигодились.

Бедной бабушке Маргарите хотелось выстроить хижинку на самой плотине, на берегу моря. И вот, старший брат отдал ей все обломки кирпичей, да ещё несколько штук целых на придачу, – он был человек добрый, даром что простой рабочий. Старушка сама кое-как слепила себе из кирпичей лачужку; тесненька она вышла, единственное оконце смотрело криво, дверь была слишком низка, а соломенная крыша могла бы быть пригнана лучше, но всё-таки в лачужке можно было укрыться от дождя и непогоды, а из оконца открывался вид на море, бившееся о плотину. Солёные брызги частенько окачивали жалкую лачугу, но она держалась крепко; умер и тот, кто пожертвовал для неё кирпичи, а она всё стояла. Второй брат, тот умел строить получше! Выйдя в подмастерья, он вскинул котомку на спину и запел песенку подмастерьев:

Конец ученью! В путь-дорогу
Искать работы я пущусь!
Здоров я, молод, слава Богу,
Работник знатный – побожусь!
Когда ж на родину вернуся,

Женюсь на любушке своей!
Сидеть без хлеба не боюсь;
Ведь, «мастер» нужен всем – ей-ей!

Так он и сделал. Вернувшись в родной город и став мастером, он строил дом за домом и застроил целую улицу. Дома стояли крепко, а улица украшала собою город – и вот, все эти дома выстроили в свою очередь домик самому мастеру. Разве дома могут строить? А вот, спроси у них; они-то не ответят, но люди скажут: «Конечно, это улица выстроила ему дом!» Домик был невелик, с глиняным полом, но, когда мастер плясал по этому полу с своею невестой, он заблестел, что твой паркет, а из каждого кирпича в стене выскочил цветок, – не хуже дорогих обоев вышло!

Да, славный это был домик и счастливая парочка! Над домиком развеялся цеховой значок, а подмастерья и ученики кричали хозяину ура! Вот, он и добился кое-чего, а потом умер, – добился кое-чего ещё!

Теперь очередь за архитектором, третьим братом, который был сначала мальчиком-учеником, ходил в фуражке и был на побегушках у подмастерьев. Побывав в академии, он в самом деле стал архитектором и «высокоблагородием!» Дома в улице выстроили домик второму брату, каменщику, а сама улица получила имя третьего брата, и самый красивый дом в улице принадлежал ему. Вот этот брат добился кое-чего, добился даже длинного титула и впереди и после имени. Дети его стали благородными, и вдова его, когда он умер, числилась благородною вдовой. Имя же его осталось на углу улицы и не сходило с уст народа. Да, этот добился кое-чего!

За ним шел четвёртый брат, гений, который стремился создать нечто новое, особенное, да ещё один этаж сверх того. Увы! этот этаж обрушился, и гений сломал себе шею. Зато ему устроили пышные похороны с музыкой, знамёнами и цветами – красноречия в газетах и – живыми на мостовой. Над могилою же были произнесены три речи, одна длиннее другой. Чего же ему больше? Он, ведь, так желал заставить говорить о себе. Со временем ему поставили и памятник, правда, одноэтажный, но и это кое-что

значит!

Итак, умер и четвёртый брат, как первые три, но пятый, критик, пережил их всех. Оно так и следовало, чтобы последнее слово осталось за ним; это было для него важнее всего. Недаром он слыл «умною головой!» Но вот, пробил и его час, он тоже умер, и явился к вратам рая. А здесь подходят всегда попарно, вот, и с ним рядом очутилась другая душа, которой тоже хотелось войти в рай. Это была как раз бабушка Маргарита с плотины.

– Эту душонку поставили со мною в пару, верно, ради контраста! – сказал резонёр. – Ну, кто ты такая, бабушка? И тебе тоже хочется туда? – спросил он.

Старушка присела чуть не до земли, подумав, что с нею говорит сам св. Петр.

– Я бедная, безродная старуха Маргарита с плотины.

– Ну, а что же ты сделала, что совершила на земле?

– Ох, ничего я такого не сделала, за что бы мне отворили двери рая! Разве уж из милости впустят!

– Как же ты распростилась с жизнью? – спросил он, чтобы как-нибудь скоротать время, – он уж соскучился стоять тут и ждать.

– Да и сама не знаю, как! Больная я была, старая, ну, верно, и не вынесла мороза, да стужи, как выползла за порог! Зима-то, ведь, нынче какая лютая была, натерпелась я всего! Ну, да теперь всё уж прошло! Денька два выдались таких тихих, но страсть морозных, как сами знаете, Ваша Милость. Всё море, куда ни взглянешь, затянуло льдом, весь город и высыпал на лёд, кататься на коньках и веселиться. Играла музыка, затеяли пляс да угощение. Мне всё это слышно было из моей каморки. Дело было к вечеру; месяц уж выглянул, но ещё не вошёл в полную силу. Я лежала в постели и глядела в окошко на море; вдруг, вижу там, где небо сливается с морем, стоит какое-то диковинное белое облако с чёрной точкой в середине! Точка стала расти, и тогда я догадалась, что это за облако. Стара, ведь, я была и много видала на своём веку! Такое знамение нечасто приходится видеть, но я всё-таки видела его уже два раза и знала, что облако это предвещает страшную бурю и внезапный прилив, которые могут застигнуть всех этих бедных людей! А они-то так веселятся, пьют и пляшут на льду! Весь

город, ведь, все – и стар, и млад были там! Что, если никто из них не заметит и не узнает того, что видела и знала я!? От испуга я просто помолодела, ожила, смогла даже встать с постели и подойти к окну. Растворила я его и вижу, как люди бегут и прыгают по льду, вижу красивые флаги, слышу, как мальчишки кричат ура, девушки и парни поют... Веселье так и кипело, но облачко подымалось всё выше и выше, чёрная точка всё росла... Я крикнула, что было сил, но никто не услышал меня, – далеко было! А скоро ударит буря, лёд разобьётся в куски, и все провалятся – спасения нет! Услышать меня они не могли, дойти туда самой мне тоже было невмочь! Как же мне выманить их на берег? Тут-то и надоумил меня Господь поджечь мою постель. Пусть лучше сгорит весь дом, чем погибнет столько людей такую ужасною смертью! Я подожгла постель, солома ярко вспыхнула, а я – скорее за порог, да там и упала... Дальше отойти я уж не смогла. Огненный столб взвился вслед за мною из дверей и из окна, пламя охватило крышу!.. На льду увидели пожар и пустились со всех ног на помощь мне, бедной старухе, – они думали, что я сгорю заживо!.. Все до одного прибежали ко мне; я слышала, как они обступили меня, и в ту же минуту в воздухе засвистело, загремело, точно из пушки выпалило; лёд взломало, но весь народ был уже на плотине, где меня обдавало дождём искр. Я спасла их всех. Только мне-то, верно, не под силу было перенести холод и весь этот страх, вот, я и очутилась тут у ворот рая. Говорят, они открываются даже для таких бедняг, как я! На земле у меня нет больше крова, но, конечно, это ещё не даёт мне права войти в рай!

Тут врата райские открылись, и ангел позвал старуху. Входя туда, она обронила соломинку из своей постели, которую подожгла, чтобы спасти столько людей, и соломинка превратилась в чисто золотую, стала расти и принимать самые причудливые, красивые очертания.

– Вот что принесла с собою бедная старуха! – сказал ангел. – А ты что принёс? Да, да, знаю, ты не ударил пальцем о палец во всю свою жизнь, не сделал даже ни единого кирпичика. Ах, если бы ты мог вернуться на землю и принести оттуда хоть такой кирпич! Кирпич твоей работы навряд ли годился бы куда-нибудь,

но всё же он показывал бы хоть доброе желание сделать кое-что. Но возврата нет, и я ничего не могу сделать для тебя!

Тогда вступилась за него бедная старуха с плотины:

– Брат его сделал и подарил мне много кирпичей и обломков; из них я слепила свою убогую лачужку, и это уж было огромным счастьем для меня, бедняги! Пусть же все эти обломки и кирпичи сочтутся ему хоть за один кирпич! Его брат оказал мне милость, теперь этот бедняга сам нуждается в милости, а тут, ведь, царство Высшей Милости!

– Брат твой, которого ты считал самым ничтожным, – сказал ангел: – честное ремесло которого находил унижительным, вносит теперь за тебя лепту в небесную сокровищницу. Тебя не отгонят прочь, тебе позволят стоять тут за дверями и придумывать, как бы поправить твою земную жизнь, но в рай тебя не впустят, пока ты воистину не совершишь кое-чего.

– Ну, я бы сказал всё это куда лучше! – подумал резонёр, но не высказал своей мысли, – и это уже было с его стороны кое-что.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...